

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Господа ташкентцы

Картины нравов

1869 г.

ТАШКЕНТЦЫ ПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО КЛАССА

ПАРАЛЛЕЛЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Никто не мог сказать определительно, каким образом Порфирий Велентьев сделался финансистом. Правда, что еще в 1853 году, пользуясь военными обстоятельствами того времени, он уже написал проект под названием:

Дешевейший способ продовольствия армии и флотов!!

или

Колбаса из еловых шишек с примесью никуда негодных мясных обрезков!!

в котором, описывая питательность и долговосхраняемость изобретенного им продукта, требовал, чтобы ему отвели до ста тысяч десятин земли в плодороднейшей полосе России для устройства громадных размеров колбасной фабрики, взамен же того предлагал снабжать армию и флот изумительнейшею колбасою по баснословно дешевым ценам. Но, увы! тогда время для проектов было тугое, и хотя некоторые помощники столоначальников того ведомства, в котором служил Велентьев, соглашались, что "хорошо бы, брат, разом этакой кус урвать", однако в высших сферах никто Порфирия за финансиста не признал и проектом его не соблазнился. Напротив того, ему было даже внушено, чтобы он "несвойственными дворянскому званию вымыслами впредь не занимался, под опасением высылки за пределы цивилизации". На том это дело и покончилось. Порфирий года четыре прожил смирно, состоя на службе в одном из департаментов министерства финансов.

Но молчание его было вынужденное, и втайне Велентьев все-таки давал себе слово во что бы ни стало возвратиться к проекту о колбасе. Перечитывая стекающиеся отовсюду ведомости о положении в казначействах сумм и капиталов всевозможных

наименований, он пускался в вычисления, доказывал недостаточность употреблявшихся в то время способов для извлечения доходов, требовал учреждения особого министерства под названием "министерства дивидендов и раздач", и, указывая на неисчерпаемые богатства России, лежащие как на поверхности земли, так и в недрах оной, восклицал:

-- Столько богатств -- и втуне! Ведь это, наконец, свинство!

Но никто уже не верил ему. Даже помощники столоначальников и те сомневались, хотя каждому из них, конечно, было бы лестно заполучить местечко в "министерстве дивидендов и раздач". Все считали Велентьева полупомешанною и преисполненною финансового бреда головой, никак не подозревая, что близится время, когда самый горячечный бред не только сравняется с действительностью, но даже будет оттеснен последнею далеко на задний план...

Наконец наступил 1857 год, который всем открыл глаза. Это был год, в который впервые покачнулось пресловутое русское единомыслие и уступило место не менее пресловутому русскому галдению. Это был год, когда выпорхнули целые рои либералов-пенкоснимателей и принялись усиленно нюхать, чем пахнет. Это был год, когда не было той скорбной головы, которая не попыталась бы хоть слегка поковырять в недрах русской земли, добродушно смешивая последнюю с русской казною.

Промышленная и акционерная горячка, после всеобщего затишья, вдруг очутилась на самом зените. Проекты сыпались за проектами; акционерные компании нарождались одна за другою, как грибы в мочливое время. Люди, которым дотоле присвоивались презрительные наименования "соломенных голов", "гороховых шутов", "проходимцев" и даже "подлецов", вдруг оказались гениями, перед грандиозностию соображений которых слепли глаза у всех не посвященных в тайны жульничества. Всех русских быков предполагалось посолить и в соленом виде отправить за границу. Все русские болота представлялось необходимым разработать, и извлеченные из торфа продукты отправить за границу. Х. указывал на изобилие грибов и требовал "устройства грибной

промышленности на более рациональных основаниях". Z. указывал на массы тряпья, скопляющиеся по деревням, и доказывал, что если бы эти массы употребить на выделку бумаги, то бумажные фабрики всех стран должны были бы объявить себя несостоятельными Y. заявлял скромное желание, чтобы в его руки отданы были все русские кабаки, и взамен того обещал сделать сивуху общедоступным напитком. Хмель, лен, пенька, сало, кожи -- на все завистливым оком взглянули домашние ловкачи-реформаторы и из всего изъявляли твердое намерение выжать сок до последней капли. Повсюду, даже на улицах, слышались возгласы:

-- Ванька-то! курицын сын! скажите, какую штуку выдумал!

Одним словом, русский гений воспрянул...

Но как ни грандиозны были проекты об организации грибной промышленности, об открытии рынков для сбыта русского тряпья и проч. -- они представлялись ребяческим лепетом в сравнении с проектом, который созрел в голове Велентьева. Те проекты были простые более или менее увесистые булыжники; Велентьев же вдруг извлек целую глыбу и поднес ее изумленной публике. Проект его был озаглавлен так: "О предоставлении коллежскому советнику Порфирию Менандрову Велентьеву в товариществе с вильманстрандским первостатейным купцом Василием Вонифатьевым Поротоуховым в беспощинную двадцатилетнюю эксплуатацию всех принадлежащих казне лесов для неперемного оных, в течение двадцати лет, истребления"... Перед величием этой концессии все сомнения относительно финансовых способностей Порфирия немедленно рассеялись. Все те, которые дотоле смотрели на Велентьева как на исполненную финансового бреда голову, должны были умолкнуть. Столоначальники и начальники отделений, встречаясь на Подъяческой, в восторге поздравляли друг друга с обретением истинного финансового человека минуты. Директоры департаментов задумывались; но в этой задумчивости проглядывал не скептицизм, а опасение, сумеют ли они встать на высоту положения, созданного Велентьевым. Словом сказать, репутация Велентьева как финансиста установилась на прочных основаниях, и ежели не навсегда, то, по крайней мере, до тех пор, пока не явится новый Велентьев, с новым, еще более грандиозным

проектом "о повсеместном опустошении", и не свергнет своего созию с пьедестала, на который тот вскарабкался.

Само собой разумеется, что часть славы, озарившей Велентьева, должна была отразиться и на вильманстрандском купце Поротоухове. О Поротоухове еще менее можно было сказать, каким образом он сделался финансистом. Большинство помнило его еще под именем Васьки Поротое Ухо, сидельцем кабака в одной из великорусских губерний; хотя же он в этом положении и успел заслужить себе репутацию балагура, но так как в те малопросвещенные времена никто не подозревал, что от балагура до финансиста рукой подать, то никто и не обращал на него особенного внимания. Тем не менее должно полагать, что Васька занимался не одним балагурством, но умел кое-что и утаить. И вот, в одно прекрасное утро, он явился в одно из присутственных мест, где производились значительные торги на отдачу различных поставок и подрядов, и под торговым листом совершенно отчетливо подписался: "Вильмерстанский первостатейнай купец Василей Велифантьяф Портаухаф сим пат Писуюсь". Присутствующие так и ахнули. Поротоухов -- первостатейный купец? Не может быть! Васька! ты ли это?! Но Поротоухов смотрел так светло и ясно, как будто он так и родился "вильмерстанским купцом". По-видимому, он расцвел в одну ночь, расцвел тайно от всех глаз, с тем чтобы разом явить миру все благоухания, которыми он был преисполнен. И расцвел не затем, чтобы вмаля завянуть, а затем, чтобы явиться финансистом-практиком, правою рукой того плодотворного дела, душою которого суждено было сделаться Велентьеву.

Таким образом, на нашем общественном горизонте одновременно появилось два финансовых светила. Другое, более слабонервное общество не выдержало бы, но мы выдержали. Велентьев и Поротоухов пошли в ход. Железными когтями вцепились они в недра русской земли и копаются в них доднесь, волнуя воображение россиян перспективами неслыханных барышей и обещанием каких-то сокровищ, до которых нужно только докопаться, чтобы посрамить остальную Европу.

Но общественное мнение, справедливо угадав в Велентьеве и Поротоухове людей, отвечающих потребностям минуты, все-таки не

совсем правильно взглянуло на те условия, в силу которых они появились на арене общественной деятельности не в качестве прохвостов, какими бы им надлежало быть, но окруженные ореолом авторитетности. Оно увидело в них баловней фортуны, гениальных самоучек, в которых идея о всеобщем ограблении явилась как плод внезапного откровения. Это было заблуждение. Не с неба свалилась к этим людям почетная роль финансовых воротил русской земли, а пришла издалека. Над ними прошло целое воспитание, вследствие которого они так же естественно развились в финансистов самоновейшего фасона, как Миша Нагорнов -- в неусыпного служителя Феиды, а Коля Персианов -- в администратора высшей школы.

На этот раз займемся собственно Порфишей Велентьевым, предоставляя себе поговорить о Василье Поротоухове при случае.

Отец Порфиши, Менандр Велентьев, происходил из духовного звания. Даже и теперь, в одной из подмосковных губерний, имеется село Велентьево, в котором Порфишин дед был, в течение сорока лет, священником. Благодаря существовавшему в двадцатых годах спросу на молодых людей из духовного звания Менандру посчастливилось, да к тому же и способности у него были прекрасные. Еще будучи в семинарии, он с такою легкостью усвоивал себе всю книжную мудрость, от патристики до догматического богословия включительно, что отец ректор не раз решался переименовать его в Быстроумова, но, к счастью для Менандра, а еще более для Порфиши, почему-то не успел наложить на род Велентьевых неизгладимое клеймо племени Левитова. Впоследствии, как отличный, Менандр был переведен в Духовную академию, в Петербург, где тоже блистательно кончил курс, но, при выходе из академии, духовной карьеры не пожелал, а предпочел ей карьеру чиновника. Обстоятельства поблагоприятствовали ему и тут. В это самое время князь Оболдуй-Щетина-Ферлакур искал для своего сына воспитателя, и, по совету жены, обратился к единственному в то время надежному источнику истинного просвещения -- к Духовной академии. Отец ректор порекомендовал князю Менандра Велентьева.

Князь Оболдуй-Щетина-Ферлакур был первый из русских Ферлакуров. Княжна Оболдуй-Щетина была последнею представительницей знаменитого рода князей Оболдуев-Щетин. Дабы не дать угаснуть воспоминанию об этом роде, княжна, вышедши замуж за французского эмигранта Ферлакура, исходатайствовала, чтобы к фамилии последнего была присоединена и ее собственная. Таким образом устроился трисоставный князь Оболдуй-Щетина-Ферлакур. Новоиспеченный князь Российской империи оказался вполне достойным внезапно постигшего его счастья. Он сразу понял, что настоящее отечество для празднующегося -- там, где представляется возможность кататься как сыр в масле, и затем, нимало не колеблясь, принял православие, и с этой минуты не иначе говорил о себе, как "мы, русские". Долгих усилий ему стоило, чтобы полюбить севрюжину с хреном, но так как он понял, что без этого быть истинно русским нельзя, то не только полюбил севрюжину, но даже охотно пил квас, а о каше выражался не иначе как: "Каша есть мать наша". Он щеголял тем, что он русский, хотя и Ферлакур, и предсказывал, что недалеко время, когда все французские Ферлакуры будут русскими. В разговоре он любил вклеивать малоупотребительные слова, вроде "токмо", "вящий", "вмале", "книжица", "иждивение" и т. д. Но когда он, наконец, написал книжицу, в которой изобразил, какими неисповедимыми путями он дошел до сознания истин святой православной веры, то все признали, что более благонадежного русского, чем этот русский Ферлакур, -- и желать не надо. Пользуясь этим благоприятным поворотом мнения высших административных сфер, князь достиг того, что неторопливыми, но верными шагами шел себе да шел по лестнице должностей и, наконец, получил совершенно обеспеченное положение в ведомстве Святейшего синода.

Таким образом, когда Менандр Велентьев поступил, в качестве домашнего воспитателя, в дом князя Оболдуй-Щетина-Ферлакура, последний был уже наверху почестей и славы.

Менандр скоро и ловко освоился с своим новым положением. Он понял, что ему следует быть почтительным без низкопоклонства, откровенным без фамильярности и, наконец, по крайней мере, в

такой же степени русским, как и князь Оболдуй-Щетина-Ферлакур. Последнее было для него, конечно, довольно легко, потому что он не только ел севрюжину с хреном, но и гороховицу употреблял довольно охотно. Но найти середину между почтительностью и низкопоклонством, отыскать ту ноту, которая не позволяла бы откровенности перейти в фамильярность, было несколько труднее. Как и все семинаристы, Менандр был до крайности угловат, и потому решительно не владел своим телом. Он не знал, что делать с руками (по временам он порывался их прятать, как бы под гнетом ощущения рясы на плечах), и вообще всею фигурой напоминал танцующего медведя. Желание попасть в тон и показать знание светских приличий убивало его и заставляло делать тысячи несообразностей. Он то спешил и устремлялся, то вдруг останавливался и упирался, как бык; то чрезмерно улыбался, стараясь сложить губы наподобие сердечка, то вдруг насупливал брови и по целым часам глядел исподлобья. По-французски он понимал отлично, но разговор его был нерешительный, как будто его постоянно преследовала мысль: а не по-латыни ли я говорю? Сверх того, он был ширококоп и говорил таким открытым басом и с такою невозмутимую рассудительностью, как будто непрерывно проповедовал или вразумлял. Но что в особенности вредило ему, так это тогдашний модный костюм, которым он поспешил обзавестись. Вообразите вишневого цвета с искрой фрак, совершенно облизанный спереди и с узенькими фалдочками назад, штаны в обтяжку, высокий галстук, до того туго повязанный, что всякий франт того времени казался всегда живущим под угрозой паралича, и наконец прическу, состоящую из кока посреди лба, гладко выстриженного затылка и волос, зачесанных на виски в виде толстых запятых, -- и вы будете иметь возможность представить, как должен был казаться смешным в таком виде этот плотный семинарист, только что перешедший с академической парты в великолепные салоны первого русского Ферлакура.

Но Менандру, что называется, везло, и потому даже нелепая внешность послужила ему в пользу.

Княгиня была женщина еще не старая, но не очень красивая и набожная. В обществе ее уважали за то, что она умела умно вести

теологические споры, но так как даже и в то суровое время молодые люди предпочитали амурные разговоры теологическим, то княгиня постоянно видела себя окруженную людьми, имевшими не менее статского советника на плечах. Но статские и действительные статские советники говорили так резонно, что даже на нее наводили тоску. С одной стороны -- старый Ферлакур с своими "книжицами" и "иждивениями", с другой -- какой-нибудь генерал-майор Толоконников, читающий на *soiree causante* } проект "немедленного воссоединения унии, буде нужно, даже с помощью оружия", -- вот убивающая обстановка, в которой ей суждено было влачить изо дня в день свое существование. Поэтому, хотя княгиня и не сознавалась даже самой себе, что отсутствие в ее салонах молодого элемента раздражало ее, но по временам сами статские советники замечали, что на нее находят порывы какой-то странной теологической резвости. То вдруг начнет цитировать Вольтера и энциклопедистов, то возбудит вопрос о папской непогрешимости и окажет явную склонность к поддержанию ее (подивимся, читатель! где-то, на отдаленном севере, слабая женщина еще в двадцатых годах провидела вопрос, повергающий в смущение современную католическую Европу!). Статские советники слушали, хлопали глазами и расходились по домам "смущенные и очи спустя". А княгиня, оставшись наедине с самой собою, начинала вздыхать, швыряла теологические диссертации на пол, садилась к окну и с каким-то безнадежным томлением устремляла вдаль глаза свои. Ждала ли она чего-нибудь? сознавала ли даже, что чего-то ждет? -- на эти вопросы я отвечать не берусь. Я знаю только, что когда маленькому князенку стукнуло десять лет, она с каким-то лихорадочным нетерпением начала торопить старого Ферлакура, чтоб он как можно скорее приискивал сыну воспитателя.

Княгине понравилась и неловкость Велентьева, и даже его необыкновенный французский язык. Тут было много пикантного, много такого, над чем можно было поработать. Она прямо взяла Менандра под свое покровительство и, надо сказать правду, повела дело приручения дикаря с большим тактом. Прежде всего, она внушила ему полное доверие к себе своим ровным, мягким и открытым обращением. Из своих отношений к нему она изгнала всякую подготовленность, все, что могло бы намекнуть Велентьеву,

что она выдерживает школу, а не свободно относится к нему. Потом, она предприняла внушить ему, что она "святая" (une sainte), и в этом качестве имеет некоторое право снисходительно указывать людям на их недостатки, без всякого намерения оскорбить их самолюбие. Пользуясь тем, что Менандр занимал должность воспитателя ее сына, она часто и подолгу беседовала с ним, но никогда не давала заметить, что его открытый бас по временам уже слишком переходит в порывистый вой или глубокомысленное урчание, а только нюхала спирт и противопоставляла этим странным голосовым тонам мягкие и ровные тоны своего собственного голоса.

Вслушиваясь в ее свободно льющуюся, хотя и несколько бесцветную речь, Велентьев невольным образом сравнивал ее с своими захлебываниями и начинал догадываться, почему княгиня ощущает потребность нюхать спирт, когда он говорит. И вследствие этих сравнений, его собственная речь невольным образом, хотя и не без некоторой с его стороны работы, становилась все более и более спокойною. Та же самая тактика была с успехом применена и относительно прочих внешних манер. Княгиня начала с того, что, идя к обеду, потребовала, чтоб Велентьев подавал ей руку, но когда она сделала это в первый раз, то Менандр, во-первых, бросился к ней со всех ног и чуть не обрушился на нее всем корпусом, и, во-вторых, изогнулся таким образом, что сам князь удивился и сказал: "Нет необходимости, друг мой, столь вяще изломиться". С тех пор княгиня всегда сама подходила к Менандру, брала его за руку и в качестве "святой" позволяла себе незаметно сообщать его корпусу надлежащее направление. В результате оказалось, что через какой-нибудь месяц Велентьев говорил очень приятным и изъятым от всякой натуги басом и имел походку настолько непринужденную, что княгиня без всякого риска могла даже при гостях призывать его к себе с другого конца комнаты.

По вечерам княгиня читала с Велентьевым Боссюэта и Массильона. Начинала она всегда сама, но потом, под предлогом утомления, передавала книгу Менандру. Велентьев, путаясь и краснея, выводил латинские фразы и употреблял невероятные усилия, чтобы произносить их как можно более в нос. Княгиня с ангельским терпением выносила эту тарабарщину, и только тогда,

когда можно было сделать это без неприличия, вновь брала у Менандра книгу и продолжала читать сама.

-- Вы читаете с большим одушевлением, -- дружески говорила она, -- я редко слышала чтение до такой степени ясное, как ваше; но произношение у вас еще недостаточно выработано. При ваших блестящих способностях, вы, конечно, в самое короткое время успеете преодолеть небольшие трудности языка.

И действительно, постепенно Менандр до того наострился, что даже сам старый Ферлакур, выслушав, в одно прекрасное утро, его рапорт о вчерашних воспитательных занятиях юного князька, в изумлении воскликнул:

-- Ah ca! ah mais! mais il est tout a fait comme il faut, ce coquin de seminariste! {Вот так так! ну-ну! но он вполне порядочный, этот плут семинарист.} Еще одно вящее усилие, мой юный друг, и днесь все будет к наилучшему концу!

По временам княгиня посвящала его и в тайны светского разговора. Обыкновенно это случалось вечером, когда в доме не было гостей, когда старый князь уезжал в клуб, а маленький князек уже спал. Начитавшись Массильона, перебрав все доводы pro и contra {"за" и "против".} воссоединения церквей, княгиня в задумчивости полулежала на кушетке, а Менандр, сложив губы сердечком (от этой скверной привычки даже она не могла его отучить), сидел против нее.

-- Ах, что-то будет за гробом? -- произносила княгиня, закрывая глаза.

-- Я полагаю, будет жизнь бесконечная, -- отвечал Велентьев.

Княгиня некоторое время молча вздыхала. Не особенно высокая грудь ее слегка колебалась, голова закидывалась назад; складки темной шелковой блузы мягко вздрагивали.

-- Нет, я не об том, -- начинала она вновь, -- я хотела бы знать, что такое ангелы?

-- Ангелы-с -- это бесплотные духи. По крайней мере, так учит наша святая православная церковь.

-- Однако многие праведные люди их видели. Согласитесь, что если б они были совсем-совсем бесплотными, разве можно было бы видеть их?

-- Нетленным очам, ваше сиятельство, я полагаю...

-- Ах нет, опять не то! Знаете ли, я бы сама хотела быть ангелом! Только тогда, быть может, я убедилась бы, что такое значит "бесплотная", и в то же время плоть есть.

-- Ваше сиятельство! Ежели судить по сердцу, то и в настоящее время едва ли впадет в ошибку тот, кто будет утверждать, что вы ангел!!!

-- Вы думаете?... Однако... я не бесплотная...

Княгиня взглядывала на него исподлобья. Велентьев краснел как рак и начинал тяжело дышать.

-- Я не бесплотная, -- тихо повторяла княгиня, снова закрывая глаза и окончательно впадая в мечтательность.

Через несколько времени Менандру было объявлено, что он причислен с чином коллежского секретаря к одной из канцелярий. Но так как на его руках лежало более важное дело воспитания молодого Ферлакура, то само собой разумеется, что все его обязанности относительно государственной службы должны были ограничиваться получением за отличие чинов. Это было время его перевоспитания, то время, когда он должен был совлечь с себя ветхого семинариста и облечься в ризу серьезного молодого человека, до тонкости понимающего приличия света. Княгиня продолжала заниматься его перевоспитанием со всем увлечением экзальтированной женщины. Она переговорила с ним все разговоры того времени, но под конец как-то всегда сводила речь к ангелам и старалась допытаться, в чем заключаются особенности ангельского жития. Он же, с своей стороны, осмелился до того, что мало-помалу стал заводить речь о "телесном озлоблении" и, по зрелом рассмотрении этого предмета, приходил к заключению, что "сколь сие ни прискорбно кажется, но надобно оное, по возможности, утишить, дабы душа могла свободнее воспарить".

-- Какой вы, однако ж, материалист, Менандр! -- с легким укором выговаривала ему княгиня.

-- Невозможно, ваше сиятельство! -- возражал он, -- извольте рассудить сами: естественное ли дело, чтобы душа человеческая чувствовала себя свободною, коль скоро сдерживающие ее узы не находят себе надлежащего разрешения?..

Княгиня на минуту задумывалась и потом, как бы про себя, произносила:

-- Au fond, peut-etre, vous etes dans le vrai! {В сущности, быть может, вы правы!}

А молодой Ферлакур между тем подрастал, приятнейшим образом проводя время в девичьей, в обществе нянек и горничных, и лишь по временам ощущая на себе воспитательное влияние Велентьева.

Года через три Менандр, однако ж, сообразил, что, предаваясь разговорам об ангельском житии и телесном озлоблении, он не только не уйдет далеко, но даже может скомпрометировать свое будущее. Он понял, что как ни ангелоподобна княгиня, но к этой ангелоподобности уже начинает примешиваться некоторое количество "телесного озлобления". Затем представился вопрос: что такое княгиня и что такое он сам? Вопрос этот Велентьев, нимало не обольщаясь, разъяснил себе таким образом: княгиня -- женщина избалованная, капризная и притом властная; он же -- червь, в самом реальном значении этого слова. Поэтому он решился оставаться, в отношениях своих к княгине, на почве исключительной дружбы, не увлекаясь никакими любовными фантазиями, как бы ни легко казалось их осуществление...

В это время молодой Ферлакур поступил в университет. Затем, хотя обязанности воспитателя и продолжали по-прежнему лежать на Велентьеве, но он был уже настолько свободен, что мог, без ущерба для этих обязанностей, искать для себя и других занятий. Вследствие этого, он начал порываться на действительную службу, и устроил это дело так ловко, что сама княгиня убедилась, что действительно государственному механизму чего-то недостает и что этот пропуск может быть лучше всего восполнен Велентьевым, у

которого кстати была наготове целая законодательная система, ждавшая только удобного случая для своего осуществления.

-- Законы, ваше сиятельство, к тому должны быть направлены, чтобы всех людей добродетельными сделать! -- так формулировал Менандр свой взгляд на законодательство.

-- Странный вы человек, Велентьев! разве кто-нибудь сомневался, что люди обязаны быть добродетельными! Но как этого достигнуть? -- возражала княгиня.

-- Достигнуть, ваше сиятельство, всего возможно, если правительством будут допущены необходимые в сем случае приспособления.

-- Я понимаю: вы хотите сказать, что в основание законодательства следует положить систему наказаний и наград?

-- Точно так, ваше сиятельство. Ежели для добродетели будут ассигнуемы от правительства поощрения и награды, а пороку будут указаны в перспективе арестантские роты и смирительные дома, и ежели указания эти будут выполнены неупустительно, то всякому вразумительно будет, по какой стезе ему надлежит идти.

-- Да, но вы забываете, что смирительные дома уже существуют, а что касается до наград, то вряд ли казна будет в состоянии...

-- Ваше сиятельство! Я так об этом предмете думаю, что истинно добродетельный человек, и не обременяя казны, сам себя сумеет вознаградить, если ему будут преподаны надлежащие к тому средства!

Одним словом, при содействии княгини, Менандр в скором времени очутился в самом центре той кипучей деятельности, среди которой неслышно, но неуклонно разрабатывается общественное прокрустово ложе...

Двадцатые года были уже на исходе, и прежний пиетизм заменился страстью к законодательству. Канцелярия, в которой приютился Велентьев, занималась преимущественно законами. Там писались новые законы, изменялись, согласовались и редижировались старые. Целые полчища семинаристов окунали

перья в сокровищницу первозданного, неиспорченного человеческого мышления и, "замаравши их тамо", предавались "изобретению неослабных и для всеобщего употребления пригодных правил и узаконений". Целые вороха подготовительных работ валялись в шкафах и по столам; тут были и предварительные объяснительные записки, и сравнительные таблицы, и какие-то громадные листы, с наклеенными на них печатными вырезками. Слонообразные юноши-семинаристы без устали копались в этих ворохах, и начальство, взирая на них, с удовольствием помышляло, что существуют же на свете телеса, которых даже подобная работа сломить не может.

Здесь Велентьев встретил товарищей по академии, с которыми временно разлучила его суровая обязанность воспитательства. Тут были они все: и Гиероглифов, и Мудров, и Быстроумов, и Словущенский. На них лежали тогдашние упования России, и, как известно, лежали не напрасно. Товарищи встретили Менандра не только без зависти, но даже с сердечностью и радушием. Вскоре они ввели его в свой интимный кружок, который, по-видимому, преследовал какие-то особые цели и потому имел внешние признаки недозволенного правительством общества.

Кружок этот назывался "Дружеским союзом для изыскания средств и достижения целей". Цель союза формулировалась так: произвести повсеместное парение духа, имея притом в виду достижение высших блаженств. В тридцатых годах -- это уже не дозволялось. Ближайшим средством к этой цели предлагалось следующее: опутать Россию целою сетью семинаристов-администраторов и семинаристов-законодателей, так как им одним, "яко видевшим процветший в единую от ношей жезл Ааронов", вполне доступно истинное представление о высших блаженствах. Будучи введен в это общество, Велентьев немедленно и с полною ясностью определил себе тот путь, по которому ему надлежит идти, то есть предпринял изгнать от него все относящееся к парению духа, яко противоправительственное.

Как и во всяком обществе людей, соединившихся с известными целями, в "союзе" были две партии: радикалы и умеренные. Во главе радикалов стояли: Гиероглифов и Мудров, во главе

умеренных (иначе "суетных") находились: Быстроумов и Словущенский. Как составители законов, эти молодые люди руководили всем движением; за ними уже стояли целые полчища Рождественских, Спасских, Неглигентовых и проч., имевших более скромные должности в различных департаментах.

Радикалы не только серьезно, но даже щепетильно относились к "парению духа"; они небрегли внешностью, были чрезмерно худы и длинны, одевались плохо, причесывались по принуждению и жадно глотали всякую пищу, не разбирая достоинств ее. Словом сказать, они охотно отдали бы на поругание тела свои, лишь бы достигнуть "высших блаженств".

"Я желал бы, чтобы псы терзали меня!" -- вдохновенно говорил Гиероглифов. Напротив того, "суетные" были люди слегка тронутые материализмом, и хотя признавали "парение духа" лучшей формой человеческого счастья, но признавали это под условием укрощения телесного озлобления при посредстве "незасорных и дозволенных правительством лакомств". Им улыбался суровый с виду, но в сущности очень покладистый правительственный материализм, в виде приношений, взяток, акциденций и проч. По наружному виду, это были люди кругленькие и сытенькие; одевались они не без семинарской щеголеватости, причесывались каждый день, и не только не признавали правила "предлагаемое да ядим", но, напротив того, всегда выбирали, по возможности, лучшие куски. Тел своих на поругание они не отдавали, а, напротив, желали в "полном Спокойствии и мире душевном сквозь горнило испытаний пройти, дабы впоследствии от трапезы блаженств благочинно и непрепятственно вкушать".

Менандр Велентьев сразу встал на сторону "суетных" и даже скоро сделался руководителем и главой этой партии. Случайно высказанное им княгине убеждение, относительно средств для укрощения телесного озлобления, глубоко запало ему в душу. Сначала укротить, а потом -- воспарить. Немедленно по вступлении в союз он напечатал за подписью Z. в одном из журналов того времени статью под названием "Что означает истинное умерщвление человеческой плоти?", в которой доказывал, что истинное умерщвление плоти есть "благопотребное и в дозволенных

законом размерах оной удовлетворение". "Неспорно, -- писал он, -- что плоть человеческая имеет естество в достаточной степени гнусное, но так как мы оную ни уничтожить, ниже сократить не вольны, то и вынуждаемся принять оную во внимание". Статья эта наделала большого шума; Гиероглифов и Мудров написали каждый по ответной статье, в которых изъяснили, что хотя г. Z. им и неизвестен, но, должно быть, имеет душу низкую, так как даже имени своего под статьей подписать не дерзнул. Тогда Велентьев написал другую статью под названием "Что сим достигается?" -- победоносным образом доказав, что сим достигается именно то самое свободное парение духа, о котором хлопчут и Гиероглифов с Мудровым. "Когда дух наш свободно и бодро парит?" -- вопрошал он себя, и тут же отвечал на вопрос: "Тогда, когда плоть молчит; молчит же она не тогда, когда чувствует себя угнетенною, но тогда, когда требования ее вполне и на законном основании удовлетворены".

Полемика эта, как и все полемики, никакой пользы для науки духознания не принесла, но для самого Велентьева имела результат очень существенный. Вопрос о телесном озлоблении выяснился для него настолько ясно, что его неотступно начало преследовать страстное представление о месте советника в одной из казенных палат. Получить место советника питейного отделения и потом воспарить -- такова была отныне заветная мечта Велентьева, мечта, осуществление которой сделало его равнодушным даже к "изобретению пригодных законов". Только в звании советника он надеялся найти для себя ту награду, которую, по его же словам, истинно добродетельный человек, не обременяя казны, сам для себя получить может. Получить место по питейной части и затем приличным образом пристроиться, избрать себе в подруги девицу не весьма знатную, но и не низкого рода, не весьма богатую, -- но и не бесприданницу, не весьма красивую, но и не нарочито уродливую, -- таков был план, на котором остановилась мысль Менандра.

К счастью для Велентьева, привести в исполнение оба эти предположения оказалось нетрудным.

Если в синодальном ведомстве играл видную роль князь Оболдуй-Ферлаккур, то в финансовом ведомстве такую же роль играл

эйзенахский уроженец фон Юнгфершафт, в то время уже возведенный в графское Российской империи достоинство. Франко-германской распри еще не существовало; вопрос о национальностях дремал под сению венских трактатов, а потому все выходцы поддерживали друг друга без различия национальностей. Ферлакур шепнет словечко Юнгфершафту насчет местечка по питейной части; Юнгфершафт, в свою очередь, порекомендует Ферлакуру какого-нибудь архимандрита -- и, благодаря взаимным услугам, дела об определениях и увольнении шли как по маслу. Архимандриты, советники, исправники, -- все видели себя агентами одной и той же короны, только по разным предметам, распределение которых хранилось в высшей регистратуре. Велентьеву пришлось дожидаться не долго. Княгиня так усердно хлопотала, что чрез месяц после того, как зародилась идея о месте, Менандр уже являлся к самому Юнгфершафту и получал от него наставления, каким образом следует обращаться с российскими финансами. Граф был сухой и бесстрастный старик, говоривший глухим и однообразным басом. Молва считала его бескорыстным, и, по-видимому, он оправдывал это мнение; но, к сожалению, из долговременной административной практики он вынес какое-то глубоко безнадежное убеждение о России.

-- Сей страна от природы таков, -- говаривал он, -- что в нем без грабежа существовать не есть возможно!

Велентьева граф принял с тою безличною, сухою благосклонностью, которая его отличала.

-- Ви отправляетесь в одну из наивыгоднейших губерний Российской империи, -- сказал он ему, -- но прошу вас -- я не приказываю, но прошу -- имейте рот не столько широкий, как многие из сослуживцев ваших!

-- Помилуйте, ваше сиятельство! -- заикнулся было Менандр, у которого от этих слов душа уже начала полегоньку парить.

-- Я знаю, что вы хотите сказать, -- невозмутимо продолжал старик, -- вы хотите сказать, что вы не таков. Я должен вам верить, хотя и думаю, что это не есть возможно. Но повторяю вам: сожалейте ваш

родной страна! Это очень добрый и хороший страна, но нужно немного его менажировать!

Велентьев продолжал раскрывать рот, видимо порываясь разуверить графа, но старик был невозмутим.

-- И еще прошу вас, -- говорил он, -- не будьте нетерпелив! Мы для всех предлагаем очень хороший обед, но много людей имеют так мало терпенья, что бросаются кушать, когда еще стол не накрыт. И за то попадают под суд.

На губах графа играла чуть-чуть заметная улыбка; глаза смотрели ясно, как будто читали насквозь в душе этого вскормленника гороховицы, все фибры которого в эту минуту светились вожделением. Под лучом этого взгляда Велентьеву сделалось жутко, почти стыдно.

-- И еще скажу, -- продолжал напутствовать граф, -- не все грабить! Очень большой человек грабить не надо. Ибо ежели закон говорит: действовать не взирая на особ, то практика говорит не так. Прощайте, господин Велентий!

Велентьев вышел от графа словно из бани. С одной стороны, уста по привычке шептали: ангел, а не человек! -- с другой стороны, он чувствовал, что ему неловко, что граф угадал в нем нечто такое, в чем даже он сам не решался дать себе отчет. И притом угадал с такою чуткою проницательностью, что, говоря по совести, не было возможности что-либо возразить.

Как бы то ни было, но предположение относительно места осуществилось; оставалось осуществить другое предположение -- относительно вступления в законный брак. Фортуна и на этот раз не оставила Менандра своим покровительством.

У княгини жила в доме троюродная племянница, одна из многочисленных представительниц захудалого грузино-осетинского рода князей Крикулидзевых. Княжне Нине Ираклиевне было под тридцать. Маленькая, худенькая, вся черненькая, с большим грузинским носом и быстрыми черными глазами, она незаметно копошилась в одном из темных углов обширного синодального дома, не обращая на себя ничьего внимания и, по-видимому, отказавшись

от всякой надежды на вступление в брачный союз. В постоянном одиночестве, она приобрела одну страсть: копить деньги. Бережно прятала она небольшие подачки, которые давала ей по праздникам княгиня-тетка, и была совершенно счастлива, когда ей поручали сделать в Гостином дворе или в Милютиных лавках закупки: тогда она уэкономливалила несколько рублей и присовокупляла их к прочим. Сверх того, у нее было в Пензенской губернии небольшое имение (не более тридцати душ), доходы с которого она тоже прятала. Никто не знал, в чем заключается это имение и приносит ли оно что-нибудь, но она знала это отлично и, пользуясь в доме тетки полной свободой, неслышно и незримо для всех делала очень выгодные финансовые операции. Операции эти заключались в отдаче крестьян в солдаты "за дурное поведение", в продаже рекрутских квитанций, в покупке на своз душ, в продаже девок и проч. Операции не блестящие, почти незаметные, но верные и прочные. Когда она хлопотала и суетилась по поводу сдачи какого-нибудь Ионки-подлеца, которого казенная палата не соглашалась принять в рекруты по случаю искривления позвоночного столба, в доме над нею смеялись и говорили: *cette pauvre Nina! a-t-elle du guignon!* {бедная Нина! как ей не везет!} -- и затем, конечно, обхлопатывали дело так, что Ионку-подлеца принимали, несмотря на искривление позвоночного столба. А она прикидывалась казанской сиротой, а через месяц или через два снова возбуждала вопрос об отдаче в солдаты подлеца Ипатки, у которого на правой руке не оказывалось указательного перста.

-- *Calmez-vous, chere enfant!* -- успокоивал ее старый князь, -- *j'intercederai! cela s'arrangera!* {Успокойтесь, милое дитя! я вмешаюсь, все устроится!}

И Прошки, Ипатки, Ионки исчезали бесследно в качестве кашеваров, лазаретных служителей и прочих фурштатских чинов великой российской армии.

Но под конец и в доме стали догадываться, что у княжны водятся деньги. Это случилось именно в то время, когда ей исполнилось тридцать лет и она, постепенно чернея, сделалась уже совсем черною. Догадался и Велентьев, но, прежде чем на что-нибудь окончательно решиться, он стал исподволь похаживать по коридору,

в который выходила комната княжны. Княжна, с своей стороны, заметила эти прогулки и задумалась. Жажда жизни, долгое время заглушаемая забитостью, одиночеством и страстью к деньгам, вдруг вспыхнула. Чаще и чаще начала она посматриваться в зеркало и незаметно для самой себя ощутила потребность рядиться, прыскаться духами, взбивать волосы, порхать, подпрыгивать и проч. Глаза сделались томные, голос зазвучал резче, нос еще более заострился и вытянулся. Наконец, в одно послеобеда, встретившись с Велентьевым в коридоре, она пригласила его в свою комнату и угостила прекраснейшим вареньем.

-- Вы, может быть, думаете, что у меня денег нет? -- сказала она, вдруг приступая к самому существу дела, -- нет, у меня есть деньги!

Велентьева бросило в жар при этом признании.

-- Я недавно купила сто мужиков на своз, -- продолжала княжна, -- и ежели эта операция удастся, то я получу хорошую выгоду.

-- Ваше сиятельство! -- захлебнулся Велентьев.

-- А когда я буду выходить замуж, то ma tante даст мне еще десять тысяч. Эти деньги я думаю отдавать в рост.

-- Ваше сиятельство! осмелюсь доложить...

-- Вы думаете, может быть, что отдавать деньги в рост -- дело рискованное, но я могу сказать наверное, что тут никакого риска нет. Почти все заложенные вещи остаются невыкупленными и достаются мне за бесценок. Посмотрите, сколько у меня прекраснейших вещей!

И она выложила перед ним целый ворох табакерок, булавок и т. п.

-- Все эти вещи теперь мои, -- сказала она, -- потому что все они просрочены. Когда вы будете нюхать табак, то я вам подарю одну из этих табакерок. Скажите, вы в каких отношениях к ma tante?

-- Помилуйте, ваше сиятельство. Княгиня -- ангел-с! смею ли я подумать!

-- Гм... ангел! А Федосея Семеньча вы знаете?

-- Нет-с, не имею чести...

-- Ну, так вот он мог бы сказать вам, какой она ангел. Теперь он секретарем в вятской духовной консистории служит.

Это был единственный амурный разговор между Велентьевым и княжною. Тем не менее он заключал в себе настолько содержательности, что участь обоих действующих лиц была решена. Через месяц княжна Нина Ираклиевна Крикулидзева уже носила фамилию Велентьевой, и молодые в великолепном иохимовском дормезе (подарок *ma tante*) отправлялись в губернский город Семиозерск. Через год у них родился сын Порфирий.

Таким образом, уже с колыбели Порфиша очутился, так сказать, на самом лоне финансовых операций.

Менандр Семенович взглянул на свою должность с тем невозмутимым практическим смыслом, которым он всегда отличался. Конечно, в качестве бывшего семинариста, не отвыкшего еще во всяком деле прежде всего отыскивать его отвлеченную суть, он увлекся было разъяснением вопроса о правах и обязанностях, сопряженных с званием советника казенной палаты, но к чести его должно сказать, что увлечение это было непродолжительным. Он быстро понял современную ему действительность и с свойственной ему проницательностью угадал, что отыскивать в ней что-либо, отвечающее понятию, выражаемому словами: права и обязанности, - было бы совершенно напрасным трудом. Нельзя же, в самом деле, признать за нечто существенное такое право, как, например, право носить мундир с шитьем шестого класса или такую обязанность, как обязанность являться в собор и по начальству в табельные дни. Все это не больше, как принадлежность чиновничьего этикета, который, в общем своем составе, хотя и подразделялся на рубрики, носившие наименование "прав и обязанностей", но очевидно, что это произошло лишь вследствие недоразумения. В сущности, всякий, как чиновник, так и простой обыватель, жил как мог, то есть не знал ни прав, ни обязанностей, а просто-напросто занимался приобретением в свою пользу материальных удобств настолько, насколько это позволяла личная возможность приобретать. И уж конечно, никто не стеснялся мыслью, что существует на свете какая-

то особенная жизненная подкладка, элементы которой имеют название прав и обязанностей.

Итак, ни прав, ни обязанностей не было, а была только возможность или невозможность получить желаемое и, кроме того, опасение не попасть под суд. Но желание есть такая вещь, которая присуща природе человека, даже независимо от степени нравственного и умственного его развития. И дикарь нечто желает, несмотря на то что он не имеет понятия ни о правде, ни о добре, ни об общественном интересе. Поэтому, если существует общество, в котором все высшие интересы сосредоточиваются исключительно около мундирного шитья и других внешних проявлений чиновничьего этикета, то ясно, что в этом обществе единственным регулятором человеческих действий может служить только личная жадность каждого отдельного индивидуума, и притом жадность эгоистичная, уровень которой немногим превышает уровень жадности дикаря. Может человек унести и спрятать или не может? может заглотать облюбованный кус или не может? -- вот круг, в котором вращается человеческая жизнь, вот вся ее философия.

Несмотря на свою грубость, эта теория улыбалась Велентьеву. Во-первых, она не только совпадала с его теорией угобжения плоти (дабы дух мог беспрепятственнее воспарить), но и шла значительно дальше, предоставляя выполнение второй половины задачи (парение духа) естественному ходу обстоятельств. Возможен ли дух воспарить -- прекрасно; не возможен -- стало быть, обстоятельства тому не благоприятствуют. И дешево и сердито.

Во-вторых, ежели другой, лучшей теории нет, то делать нечего, надобно мириться и с тою, какая есть. Только безумцы могут отыскивать жемчужное зерно в навозе, мудрый же довольствуется и овсяным зерном. Притом же, и правительство одобряет, дабы никто жемчужного зерна не искал. Мудрый прежде всего ищет, чтоб у него была почва под ногами, и ежели эту почву составляет навоз, то он и на навозе не погнушается строить здание своего благосостояния. В-третьих, наконец, -- и это самое главное, -- теория личной жадности встречала на практике такие приспособления, которые примиряли с нею самого взыскательного и щепетильного моралиста.

Взятая сама по себе, она была безнравственна -- Велентьев охотно допускал это. Если б всем людям без различия была предоставлена возможность свободно проявлять стремления своего аппетита, то последствия этой свободы были бы самые пагубные. А именно: или всеобщая истребительная война, или всеобщее обеднение. По крайней мере, так гласит наука не только тогдашнего, но и нашего времени. Ни того, ни другого Менандр Семенович не одобрял. В качестве вскормленника семинарии он ненавидел военные упражнения и любил сосать свой кус не токмо нетревожно и несмущенно, но так, чтобы и сердце играло, и душа непрестанно славословила подателя всех благ. С другой стороны, как патриот, он понимал, что ежели все куски сделать равными, то человеческая деятельность утратит главнейший свой стимул: соревнование. Каждый будет доволен (или вынужден казаться таковым) своей долей и не станет порываться урвать долю, сосомую соседом. Люди одичают, сделаются ленивыми и беспечными, утратят инстинкт предусмотрительности и запасливости -- на что похоже! Фабрики и заводы прекратят свое действие; промышленность придет в упадок; торги запустеют, земледелию будет нанесен удар, от которого оно никогда не оправится. Что станется с отечеством? -- Велентьева подирал мороз по коже от этого вопроса. Но, к счастью, ему не представлялось даже надобности разрешать этот вопрос, ибо само отечество позаботилось о его разрешении.

Русское общество, с самого начала XVIII века, порывалось создать теорию такой регламентации аппетитов, которая приличествовала бы обществу вполне цивилизованному, оберегающему себя и от анархии, и от всеобщего обеднения. Попытки эти выразились в форме очень незамысловатой, но в то же время очень действительной, а именно -- в форме таблицы о рангах. Общество не лукавило; оно не прибегало для оправдания своих теорий к помощи сложных и извилистых политико-экономических афоризмов, которые, впрочем, не столько разрешают вопрос об уравнивании человеческих аппетитов, сколько описывают, каким образом в действительности происходит ограничение одних частных аппетитов в пользу других таковых же. Оно поступило проще, то есть разделило аппетиты на ранги, и затем сказало, что только действительно сильный и вполне сознающий себя аппетит может

выйти из того ранга, в который его поместила судьба. Это была своего рода цельная и оригинальная экономическая наука, которая, в главных чертах, разделяла обывателей на следующие четыре разряда. Одним предоставлялось желать, но не получать желаемого; другим -- желать и получать, но не сполна; третьим -- желать и получать сполна; четвертым -- желать и получать в излишестве.

Таким образом, вопрос о безнравственности теории индивидуальных appetites был устранен, и это тем более утешило Велентьева, что, в большинстве случаев, с табелью о рангах уходил на задний план и вопрос о силе аппетита, или, лучше сказать, вопрос этот ставился в полнейшую зависимость от разрядов. Конечно, исключения допускались (сам он, Менандр Велентьев, был одним из таких исключений), но исключения, как известно, только подтверждают и узаконяют правило. По общему же правилу, будь человек хоть семи пядей во лбу, имей он хоть волчий аппетит, но ежели, по щучьему велению, он засел в разряд неполучающих, то и не выкарабкаться ему оттуда ни под каким видом.

"-- Да-с, и сиди да посиживай там! вот и хотелось бы тебе, курицыну сыну, что-нибудь стибрить -- ан врешь, руки коротки! Припасено, милый человек, да не про тебя!" -- мысленно говорил себе Велентьев, потирая руки.

Столь прекрасные практические приспособления совершенно успокоили Менандра Семеновича. Он чувствовал, что аппетит у него сильный, что сам он, по мере возможности, готов пожрать все, что угодно, и что обстоятельства благоприятствуют не только содержанию этого аппетита в исправности, но даже и развитию его в будущем. Тем не менее он был настолько благоразумен, что на первый раз, по собственному движению, причислил себя не к четвертому, а лишь к третьему разряду обывателей. Четвертый разряд -- это идеал, это светозарный пункт, к которому надлежит стремиться и по возможности достигать. Третий разряд -- это "следуемое", это то, что, во всяком случае, должно быть. Велентьев понял, что, прежде, нежели требовать от судьбы излишков, человек должен достигать "счастия", то есть такого душевного равновесия, при котором он имеет право сказать: я мало имею, но и за сие малое восхваляю господу моего в тимпанах и гусях! Достигнуть же этого

блаженного состояния можно лишь тогда, когда желания человеческие строго согласованы с средствами их осуществления, и когда, вследствие этого согласования, произойдет получение желаемого сполна. Разумеется, неприятно видеть, как сосед держит во рту кусок (иной и держать-то путем не умеет!), но на первых порах и эту неприятность следует перенести стоически. Пускай цари живут в позлащенных дворцах -- он, Велентьев, поживет и на Козьей улице, в собственном домике с садом и палисадником. Всякому свое -- вот правило мудрого; тот же мудрейший, который пожелает возвести это правило на ту высоту, где уже теряется различие между твоим и моим, -- все-таки должен хотя на время притвориться лишь просто мудрым. Поэтому: советнику ревизского отделения -- свое; губернскому контролеру -- свое, поменее; губернскому казначею -- свое, еще поменее; ему, Велентьеву, яко советнику питейного отделения, -- свое, против других сугубо. Но, до поры до времени, ни ему нет дела до чужих кусков, ни другим -- до его куса. Всякий да сосет свой кус под смоковницую своей.

"Прибыл я в патриархальный наш Семиозерск, -- писал Велентьев к другу своему Словущенскому, -- и изумился, до какой степени мудро наши добрые провинциалы все сие устроили. Представь себе немалое здание, множеством камер исполненное. Одному дана камера посветлее и пообширнее, другому -- не столько светлая и обширная; однако ж никто, начиная с презуса и кончая последним канцелярским служителем, не забыт. И скажу тебе откровенно, мой друг! Мнится, что не тот счастлив, кто имеет самую светлую и обширную камеру, но тот, кто и в своей посредственной камере умеет с чистым сердцем прожить!"

В те времена места советников казенных палат (в особенности же питейных отделений) считались самыми завидными. Хотя грабеж шел неусыпающий, но так как он был негромкий, то со стороны казалось, что это не грабеж, а только получение желаемого. Поэтому, кроме хороших доходов, тут был и почет. Какой-нибудь советник губернского правления, чтобы поставить себя, в материальном отношении, на одну высоту с советником казенной палаты, обязывался совершить что-нибудь необыкновенное: или взойти в паи с убийцами, или скрасть сенатский указ, или сделать подлог. То

есть, говоря выражением того времени, должен был "замараться", ибо лишь за дела, сопряженные с "замаранием", он получал мзду настолько существенную, что "не совестно было ее взять". Напротив того, советник казенной палаты мог не только гнушаться убийцами, но просто имел право сидеть сложа руки и, как говорится, ждать у моря погоды -- и ни десница, ни шуйца его от того не оскудевали. Ему нужно было только состоять в звании советника -- и взятка притекала к нему сама, и притом взятка самая "благородная", такая, которую и "не стыдно было взять" (в количественном смысле) и для получения которой не нужно было ни "мараться", ни рисковать. Не мудрено, стало быть, что места эти ценились высоко и достигались лишь с помощью сильной протекции или очень значительной денежной оплаты.

Но даже и в казенных палатах питейные отделения казались чем-то исключительным, вроде рая земного. Прочие советники хоть по временам, но должны были красть и вымогать; {Так, например: советник ревизского отделения обязан был щупать рекрутские тела, выслушивать плач, стоны и проклятия, кривить душой при приеме охотников, входить в пререкания с лекарями и военными приемщиками и т. д.; губернский контролер, чтобы получить мзду, нередко оставлял без утверждения даже самые правильные отчеты, так что ему давали взятку только затем, чтоб развязаться с ним; на места губернских казначеев попадали древние старики, которые жили подачками при подписании указов о выдаче денег, а также подарками, получаемыми от уездных казначеев. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)} советник питейного отделения -- никогда! Он мог, никого не угнетая, а напротив, всех радуя, прожить свой век -- и, во всяком случае, получить желаемое сполна и в определенные сроки. В его заведовании было самое тучное, благонравное и сговорчивое из всех стад, какие когда-либо вверялись человеческому пасенью. То было стадо откупщиков и винокуренных заводчиков. Тучное и покладистое, оно привлекало к себе все сердца еще тем, что было немногочисленно и неразнообразно, а следовательно, не представляло опасностей и относительно болтовни. В этом маленьком, однородном и по природе податливом мире между пасущими и пасомыми исстари завязались такие крепкие отношения, которые образовали собой целое "положение", имевшее,

пожалуй, более силы и обязательности, нежели положения, освященные законом. Это добровольное, выработанное самою жизнью, "положение" выполнялось с точностью вернейшего часового механизма и притом самым "благородным" образом. Одним словом, благодаря ему советник питейного отделения мог, нимало "не мараясь", получать все то, что и он и сам взятокодатель считали бесспорно ему принадлежащим.

Каждогодно, в сентябре, производились в палате торги на поставку вина, и каждый заводчик безропотно вносил "на братию" от шести до осьми копеек ассигнациями с ведра, смотря по тому, какое существовало в губернии "положение". Откупщик, с своей стороны, тоже руководился "положением", внося свою дачу по третям года или помесечно, и притом всегда вперед, так что даже в случае смерти получателя деньги эти не возвращались. Наконец, являлись по временам и отдельные случаи: взятие откупа в казенное управление, корчемство, пререкания между откупщиками двух соседних уездов и т. д. Но и эти случаи были предвидены "положением", и ежели не математически верно, то приблизительно были им разрешены. Следовательно, в виду всегда имевшаяся живая и осязательная руководящая нить, которая не допускала ни споров, ни пререканий. Приедет заводчик, скажет: "по "положению" имею честь вручить"; советник пожмет ему руку и ответит: "напрасно беспокоились, а впрочем..." Только всего и разговоров.

Затем, замок щелкал, и "следующее по положению" скромно присовокуплялось к прочим таковым.

И откупщики, и заводчики, и винные пристава -- все приносили от избытков своих, а тот, кто терпел, -- не жаловался, да вряд ли и понимал, что он терпит.

Столь превосходные качества мест требовали и строгого выбора лиц для занятия их. Лица эти были люди солидные, обладавшие вполне благонадежными качествами ума и сердца. Многие из советников питейных отделений были тайные поборники масонства, многие числились членами библейского общества и все без исключения отличались набожностью, склонностью к созерцательности и любовью к благолепию службы церковной.

Эпархиальные архиереи видели в них опору благочестия, доблестнейших сынов церкви, составлявших украшение воскресных архиерейских пиров. Центральная власть понимала их как людей, существенно заинтересованных в сохранении существующих порядков, а следовательно, благонамеренных и нестроптивных. Директоры училищ отводили душу, беседуя с ними о боге и его величии. Полицеймейстеры указывали на них как на идеал доблестного содержания мостовых и неуклонной вывозки нечистот. В заключение же всего, общество, убежденное, что из всего чиновничьего сословия они одни не имеют надобности "мараться", а только получают следующее "по положению", дарило их своим доверием и выбирало старшинами в местные клубы.

Живя скромно, окруженные общей любовью, никем не огорчаемые, эти люди незаметно становились городскими старожилками, принимали к сердцу местные интересы, делались членами холерных, оспенных и других комитетов и умирали в глубокой старости, оставляя после себя вдов и сирот, которые были бы неутешными, если б хлопоты по утверждению в правах наследства давали им время для продолжительного оплакивания. И когда печальная колесница увозила к последнему жилищу гроб, на крыше которого красовалась трехугольная шляпа, а внутри покоились бранные останки того, кто еще так недавно был добрым пастырем откупщиков и винокурных заводчиков, никто не говорил вслед этому гробу: вот умер один из грабителей русской земли! -- но всякий, сотворив крестное знамение, произносил: вот умер человек, который никогда в своей жизни не замарался, но довольствовался лишь тем, что следовало ему "по положению".

Вот краткий, но правдивый очерк того положения, в котором очутился Велентьев в Семиозерске.

Менандр Семенович инстинктом угадал все, что в его ново-"; роли заключалось существенного, и потому, вступив в должность, почувствовал себя в ней точно так же свободно, как будто он двадцать лет сряду разрешал вопросы об утечке и усышке. Еще перед выездом из Петербурга он понял, что главное в этом деле -- это бюджет доходов, и потому прежде всего приобрел себе отлично переплетенную и разлинованную тетрадь с вытисненной на

переплете надписью "Разное". На внутреннем же заглавном листе тетради он написал: "Смета ожидаемых получений" с эпиграфом: благословиши венец лета благости твоя, господи! Затем, с свойственной ему проницательностью, он разделил смету на пять следующих параграфов: 1-й "Содержание, от казны присвоенное (лепта вдовицы)"; 2-й "Положение от откупа (всякое даяние благо)"; 3-й "Положение от господ винокуренных заводчиков (и всяк дар совершен)"; 4-й "Следуемое от винных приставов (ему же дань -- дань, ему же честь -- честь, ему же оброк -- оброк)"; 5-й "Разные поступления (ищите и обрящете)". Сделав это распределение, Менандр Семенович сказал себе, что главное исполнено, что рубрики, исчерпывающие кругообращение советника питейного отделения, найдены, и затем остается только наблюдать, чтоб они своевременно и неупустительно наполнялись.

По соображениям его, все пять параграфов сметы должны были доставить никак не менее тридцати тысяч рублей на ассигнации в год, без лажа. А так как, при тогдашней дешевизне всех жизненных потребностей и при собственной его умеренной жизни, ему и пять тысяч прожить за глаза, то должен получиться ежегодный остаток в двадцать пять тысяч рублей, который и представляет собой "получение желаемого", или чистый доход. Этот чистый доход предполагалось употреблять на финансовые операции.

В те времена финансовые операции были еще в младенчестве. Никто еще не думал ни о железных дорогах, ни о водопроводах, а тем менее об учреждении компаний для получения от казны пособий. Приращение капитала шло медленно, но зато верно. Большинство чиновников клало свои лепты в ломбард на имя неизвестного и предпочитало этот способ приращения всем другим, потому что он не был сопряжен с риском и не допускал огласки.

-- Ломбард -- святое дело! -- говорили чиновники. -- Положил, и концы в воду.

Другой способ приращения заключался в одолжении деньгами "верного человека" за хорошие проценты. Тут приращение шло несколько быстрее, но и возможность огласки была настолько значительна, что только мелкие и очень жадные чиновники

решались на эту операцию. Третий способ состоял в помещении денег в торговые предприятия, которые обыкновенно велись под чужим именем; но эта операция требовала такого сложного и бдительного контроля, что чиновники, увлекавшиеся выгодами торговых барышей, нередко становились в положение человека, погнавшегося разом за двумя зайцами и ни одного не поймавшего. Наконец, существовала и еще четвертая операция -- это покупка и продажа мужиков. Операция эта была совершенно верная и выгодная, но тут огласка была уже полная.

Менандр Семенович, как человек солидный, и операцию выбрал солидную, то есть решился класть свой чистый доход в ломбард. Нельзя сказать, чтобы мысль о более быстром обогащении не улыбалась ему, но он понял, что благосостояние его зависит не столько от тех выгод, которые может доставить ему быстрое обращение благоприобретенных капиталов, сколько от ежегодных и совершенно верных присовокуплений, которые сулила ему должность. Эта должность представляла единственную прочную и никогда не иссякающую операцию, которую он мог предпринять без риска, а потому он дал себе слово оберегать ее от всяких случайностей и содержать этот источник столь чистым и прозрачным, как ему в том перед начальством и на Страшном суде ответ дать надлежит.

Только два раза, в продолжение своей служебной карьеры, Велентьев отступил от этого мудрого правила; оба раза по настоянию Нины Ираклиевны, и оба раза с ущербом. Один раз он "одолжил" за хороший процент довольно значительную сумму совершенно "верному" человеку, которому притом нужно было "перехватить" двадцать тысяч на самый короткий срок для самой надежной операции. И что же оказалось? Едва получил "верный человек" деньги, как тотчас же словно в воду канул. Только через год он вынырнул, но вынырнул там, где уже не существует ни возвратов занятых сумм, ни надежд на выгодные операции, -- в семиозерском остроге. Менандр Семенович поскорбел, упрекнул Нину Ираклиевну в легкомыслии, но давать делу огласку и "мараться" не пожелал. Подобно древнему Иову, он сказал себе: бог

дал, бог и взял, -- и затем купил два калача и поехал в тюремный замок.

-- Ты у меня двадцать тысяч украл, -- сказал он своему должнику, - но я тебе не мщу, потому что мстят только низкие души. Вот, привез тебе два калача: возьми и ешь.

В другой раз он задумал открыть мучной лабаз и торговать под чужим именем хлебом, но и эта операция убедила его, что одному человеку заgrabить все деньги никак невозможно. Во-первых, контроль над мещанином, от имени которого производилась торговля, оказался до крайности сложным и даже унижительным. Каждое утро Велентьев запирался с своим агентом в кабинете, проверял счета, прокладывал выручку, но и за всем тем никогда не мог освободиться от мысли, что агент нечто украл. Как плод этих сомнений, в кабинете раздавались побрякивания и еще какие-то звуки, выражавшие не то недоверие, не то недоумение.

-- "Со вчерашними ежели считать, то двести пятьдесят рублей и три четверти копейки, а без оных сто один рубль двадцать две копейки, итого девяносто рублей", -- читал Менандр Семенович отчет, -- черт тебя знает, братец, какую ты тут чушь напорол!

Затем счета складывались, и Велентьев уже без дальнейших околичностей обращался к своему агенту с вопросом:

-- Верно?

-- Помилуйте, ваше высокородие! осмелюсь ли я?

-- Я тебя спрашиваю: верно?

-- Вот как перед истинным-с!

-- Повтори, какое ты слово сказал?

-- Как перед истинным, так и перед вашим высокородием: ни копейки не утаил-с!

-- Смотри же помни это! Знаешь что в Писании сказано: не человеком солгал еси, но богу!

Во-вторых, несмотря на клятвы, дело кончилось все-таки тем, что мещанин однажды совсем не явился с отчетом, а вслед за тем

объявил себя от собственного имени невинно падшим и исчез. Вторично Велентьев, подобно Иову, воскликнул: бог дал, бог и взял, но с тех пор уже дал себе слово никогда не сворачивать с пути, который указывал ему на ломбард как на единственно верное хранилище чиновнических лепт.

Когда Порфиша начал понимать себя, репутация Менандра Семеновича в Семиозерске уже установилась. Он пользовался общественным уважением, состоял в звании старшины местного клуба, имел на шее орден Св. Анны и в довершение всего обладал дружеским расположением губернатора. Губернатор когда-то принадлежал к секте скакунов, был пойман на радении в инженерном замке, затем, в виде опалы, сослан в Семиозерск на губернаторство, и вследствие всего этого считал себя философом. Поэтому беседа с Менандром была для него настоящею усладою. Но и среди этих благоприятных условий Велентьев нимало не возгордился, но, напротив того, готов был всякому подать благой совет и даже оказать помощь, разумеется, если она была не денежная.

Порфиша от природы был любознателен, но это качество развилось в нем еще более вследствие таинственности, которою папаша облакал некоторые свои действия. Ежедневно утром Менандр Семенович запирался у себя в кабинете и по истечении некоторого времени выходил оттуда весь красный. Естественно, что обстоятельство это должно было заинтриговать Порфишу, и вот однажды, оторвавшись от резвых игр юности, он подстерег момент, когда дверь папашина кабинета захлопнулась, подкрался к ней неслышными шагами, приложил к замочной скважине глаз и увидел следующую картину.

Отец сидел у письменного стола, задом к нему, следил по толстой разграфленной книге и щелкал на счетах. Потом начал перебирать какие-то бумажки, смотрел некоторые из них на свет, щелкнул на счетах, достал новую пачку бумажек, пересчитал и опять щелкнул. Сосчитавши все, как следует, он приступил к сортированию тех бумажек, которые еще не были сложены в пачки, подобрал серенькие к сереньким, красные к красным и т. д. Подобрал полную пачку, он клал ее на стол, причем каждый раз хлопал рукою и

боязливо обертывался назад, как бы опасаясь, не наблюдает ли кто за ним. Затем он выдвинул другой ящик, вынул оттуда мешок с полуимпериалами и разложил на столе порядочное количество блестящих столбиков. Наконец, сосчитавши ассигнации и полуимпериалы, он подвел на счетах общий итог, потянулся, крикнул и призвал имя господне. Финансовая операция кончилась; ассигнации и полуимпериалы отправлены в подлежащие ящики; замки защелкнулись. Порфиша отпрянул от двери и поспешил в столовую играть.

Как ни однообразно было это зрелище, но оно полюбилось Порфише. Ему понравился и звон полуимпериалов, и шелест бумажек, тем более что папаша, в качестве члена палаты, постоянно имел ассигнации новенькие. Каждое утро он с лихорадочным нетерпением выжидал начала сеанса и, притаив дыхание, выдерживал его до конца. Он научился различать интонации папашиных покрякиваний, угадывал, когда папаша доволен результатами своего сеанса и когда недоволен. Мало того: никем не наставляемый, он в скором времени стал отличать серенькие бумажки от красненьких и синеньких, и, как ребенок живой и острый, угадал, что первым надлежит отдать предпочтение перед последними. Словом сказать, инстинкт финансиста в нем заговорил.

Но в особенности интересовали его два месяца в году, а именно: сентябрь, когда производились торги на вино, в просторечии называемые сенокосом, и ноябрь, когда присяжные отправлялись в Петербург за гербовой бумагой и когда папаша отсылал свой чистый доход для вклада в ломбард. В обоих случаях Менандр Семенович заметно волновался, но в первом волновался сладостно и видел веселые сны, а во втором был мрачен и видел во сне воров, мошенников и грабителей. Это волнение длилось до тех пор, пока вино не было окончательно заподряжено и пока доверенный присяжный не вручал Велентьеву нового ломбардного билета на имя неизвестного. Тогда все снова приходило в обычный порядок. Вместе с отцом оживал и падал духом и Порфиша. Не имея никаких положительных сведений ни о заподряде вина, ни о ломбарде, он понимал, однако ж, что названные выше эпохи составляют венец того процесса созидания, которому так неутомимо, в продолжение

целого года, предавался его отец. ОБ смутно чувствовал, что в родительском доме происходит нечто очень важное и решительное, и если бы проницательный человек заглянул в эти минуты в его душу, то убедился бы, что хотя Порфиша еще ни разу не произнес слова "капитал", но что слово это уже созрело, и недалеко то время, когда оно слетит с его языка так свободно, как будто именно на этом языке, а не в другом месте, его подлинное месторождение.

Но чем более Порфиша выказывал склонности к меркантилизму и к счетной части, тем менее поощрял в нем эту склонность Менандр Семенович. Подобно всем людям, занимающимся накоплением, а не распределением богатств, он как бы несколько стыдился своего ремесла.

Одаренный от природы домовитыми инстинктами евангельской Марфы, он прикидывался беспечною Марией и ни о чем так охотно не беседовал, как о масле, мирре и благовониях. Поэтому он твердил Порфише о добродетели и старался внушить ему чувства невинные и в то же время возвышенные. Но, к величайшему сожалению, у него было так мало свободного времени, что он мог делать эти внушения лишь в самом кратком виде. Утро было занято службой, вечер -- клубом; вполне свободным оказывался только небольшой послеобеденный промежуток, который и посвящался вкоренению в ребенке благородных чувств. Отдохнувши и напившись чаю, Менандр Семенович ходил с Порфишей по довольно обширному фруктовому саду, который был разведен им сзади дома, очищал яблони от червей и гусениц и собирал паданцы. Если яблоко упало вследствие зрелости, то Менандр Семенович, поднимая его, говорил:

-- Вот, мой друг, образ жизни человеческой! Едва созрел -- и уже упал!

Если же яблоко упало, подточенное червем, то он говорил:

-- И тут жизнь человеческая прообразуется! Но не зрелостью сраженная, а подточенная завистью и клеветой!

Потом, указывая на небо, присовокуплял:

-- Смотри на небо, мой друг! и оттоле жди себе утешения в коловратностях жизни! Там живет общий отец наш! Люби его, друг мой!

И затем, повернувшись на каблуках, отправлялся в клуб.

Несмотря на краткость этих поучений, Порфиша не любил их. Быть может, он не мог согласить их с теми утренними сеансами, которых он был ежедневным свидетелем, или же вообще в нем мало развита была склонность к риторическим уподоблениям -- как бы то ни было, но образ отца представлялся ему двойственным: во-первых, в виде солидного человека, занимающегося процессом созидания, и, во-вторых, в виде сытого празднующего, предающегося, в ожидании партии виста, разглагольствиям о каких-то совсем ненужных сравнениях человека с яблоком. За действиями первого он следил с тревогою и любовью; предиками последнего скучал и тяготился. Он не раз даже пытался объяснить себе, отчего папаша утром такой, а после обеда другой, но так как для детского ума разрешение этого вопроса не представляло существенного интереса, то вопрос так и канул в общей бездне мгновенно вспыхивающих и мгновенно же потухающих вопросов, которыми так богато детское существование. Впоследствии, в годах более зрелых, образ отца разглагольствующего окончательно стушевался, и тем рельефнее выступил образ отца, щелкающего на счетах и каждодневного созидającego.

Гораздо цельнее и рельефнее представлялся Порфише образ матери.

Нина Ираклиевна, вышедши замуж и поселившись в Семиозерске, значительно изменилась. И прежде у нее было не много княжеских привычек, теперь же она предала забвению и то небольшое княжеское, которое сохраняла в доме *ma tante*. Фигура ее из тоненькой сделалась круглою и плотною; лицо, утратив желчное выражение, приобрело оттенок довольства и даже добродушия. Вообще, устройство ее судьбы подействовало на нее благотворно. Она не была обязана ни скрываться, ни приобретете исподтишка, как в доме *ma tante*. Та страсть, которая была двигателем всей ее жизни, -- страсть к приобретению -- получила себе вполне свободный

выход. Она могла покупать, продавать, выменивать -- Менандр Семенович не только не препятствовал ей, но даже радовался, взирая на ее деятельность. У Менандра Семеновича было свое дело, у ней -- свое. Она тоже создала себе своего рода палату, в которой и копошилась с утра до вечера.

На половине у мамыши также шел процесс созидания, но шел не потаенно, а в виде непрерывной и совершенно открытой суতোлки, так что Порфиша имел полную возможность следить за всеми его подробностями. Нина Ираклиевна вела операцию очень сложную и замысловатую: она торговала мужиком. Выменивала, покупала, продавала, отпускала на волю, сдавала в солдаты и проч. Отказавшись лично от этой операции, Менандр Семенович предоставил ведение ее жене тем охотнее, что последняя, как было всем известно, имела свой приданный капитал и свою приданую деревню. Следовательно, ни огласка, ни опасение клеветы -- ничто не препятствовало ей производить все свойственные благородному званию и дозволенные законом операции. Находились, конечно, люди, которые говорили, будто Велентьев уделяет своей жене на этот предмет довольно значительные куши, которые в расходной его книге и записываются под рубрикой "воспособления", но так как никто этого собственными глазами не видал и сам Велентьев в том не сознавался, то и выходил один пустой разговор. И Нина Ираклиевна, не смущаясь разговорами, продолжала действовать неумолимо и ловко. Она изучила мужика подробно, хотя и довольно односторонне, а именно только с точки зрения выжимания так называемого мужицкого сока. Не обращая внимания на этнографические и бытовые стороны мужицкой жизни, она направила свою проницательность исключительно на изучение стороны экономической, и так наметалась в этой науке, что с первого взгляда угадывала, где и что у мужика лежит и какую денежную ценность он собой представляет. Не брезгая мужиком барщинным, она преимущественно любила мужика оброчного, как более избалованного свободой передвижений и, следовательно, более чувствительного ко всяким ограничениям этой свободы. Заставить мужика за хорошую плату выкупиться на волю -- вот что стояло у нее на первом плане; затем уже следовали другие меры: заставить откупиться от солдатчины, от барщины, от службы в качестве

бурмистра и проч. На все это оброчный мужик шел гораздо ходчее барщинного. К тому же, и доход в виде денег представлялся ее уму яснее, нежели доход в виде произведений мужицкого труда. Последние она допускала лишь между прочим, в виде талек, сушеных грибов, полотна, овчин и проч.

Этого добра скоплялись у нее полные кладовые, и она охотно снабжала им мелких семиозерских торгашей.

Комната мамыши представляла целый хаос, в котором только она одна могла разобраться. Тут были сложены вороха талек, полотен, кож и другого крестьянского хлама, и все это с утра до вечера перевешивалось, перемеривалось, записывалось в особые материальные книги и затем отправлялось в кладовые, чтобы на другой день дать место другим ворохам. Тут же, к великому удовольствию Порфиши, лежали и незатейливые сласти: пряники, орехи, леденцы и проч., приносимые мужиками на поклон. Подобно Менандру Семеновичу, Нина Ираклиевна каждодневно поверяла себя, и в это время, точно так же, как и муж, запиралась в своей комнате, но от Порфиши она не скрывалась и даже делала его соучастником тех наслаждений, которые доставляла ей поверка. Ставши коленами на стул и навалившись всем корпусом на стол, Порфиша, в каком-то очарованном забытьи, всматривался в ряды разложенных пачек и следил за движениями рук мамыши. В комнате делалось тихо; слышался только шелест бумажек, сопровождаемый чуть слышным бормотанием, да изредка раздавалось щелканье косточек на счетах, от которого Порфиша каждый раз вздрагивал, как будто в этом щелканье слышалась ему какая-то сухая, безапелляционная резолюция. Бумажки, в противоположность папашиным, были замасленные, рваные, вделанные в писаную бумагу, и это обстоятельство тоже обратило на себя внимание Порфиши.

-- Мамаша! отчего у тебя бумажки рваные, а у папаши новенькие?
-- спрашивал он.

-- Оттого, что мои бумажки мужички принесли! Не мешай, мой друг! пять, шесть, семь...

Порфиша протягивал руку и дотрогивался пальцем до одной из пачек. -- Отчего же у мужичков рваные бумажки? -- спрашивал он опять.

-- Оттого, что у них руки потные... не трогай, мой друг! не сдвигай пачек с места! Восемь, девять, десять...

Порфиша на время умолкал и сидел смирно; но детская подвижность понемногу брала-таки свое, и он снова протягивал руку.

-- Мамаша! у Авдея-старосты руки черные-пречерные! -- говорил он, пытаясь отвлечь внимание Нины Ираклиевны.

-- У Авдея-старосты... да не тронь же, душенька, пачку! в другой раз запрешь и не оставлю тебя с собой!

-- Я, мамаша, только пальчиком!

Но вот и мамаша оканчивала поверку. "Слава богу, все верно!" -- говорила она и, уложив пачки в ящик, запирала последний ключом. Затем она на некоторое время предавалась не то что отдохновению, а как бы сладкому сознанию, что все до сих пор шло и идет хорошо, а завтра, быть может, будет идти и еще лучше! Но отдохновение Нины Ираклиевны не бывало продолжительным. Ее всегда ожидали нужные дела, в виде переговоров с сводчиками, конференций с мужиками и старостами, приема оброка, талек, яиц и т. п.

Все сводчики ее знали и наперерыв предлагали имения. Всегда находились люди, которые, постепенно проворовываясь, в одно прекрасное утро усматривали себя в положении, о котором говорится: "хоть в петлю полезай". Поэтому имений, которые нужно было продать во что бы то ни стало и за что бы то ни стало, всегда бывало очень достаточно. Нина Ираклиевна зорко следила за такими случаями, имела на этот случай "руку" в опекуновском совете и находилась в постоянных сношениях с сводчиками, которые являлись у ней чуть не каждый божий день.

-- Дорого! -- обыкновенно отрезывала она, выслушав предложение сводчика и зная, что последний всегда запрашивает если не вдвое, то в полтора раза.

-- Сударыня! строениев одних сколько! Избы новые, крытые тесом, скот-с... Опять-таки мельница, лес-с...

-- Не люблю я с мельницами возиться... ну их! мне мужика дай!

-- И мужики исправные; у одного в Москве на Таганке заведение, у некоторых смолокурни, дехтярные заводцы-с!

-- Сколько душ-то, ты говоришь?

-- Триста.

-- По четыреста за душу... сколько это денег-то выйдет?

-- Не по четыреста, а по двести, сударыня, в двухстах они в совете заложены!

-- Ну, ин по двести! Сто по двести -- это двадцать тысяч... шестьдесят-то тысяч! да ты, сударь, никак, с ума спятил!

Нина Ираклиевна с негодованием отбрасывала счета и отворачивалась от сводчика к окну.

-- За пятьдесят, может быть, отдадут! -- заговаривал сводчик.

Молчание.

-- Хоть сорок-то пять положьте!

-- Тридцать!

-- Нет, за тридцать нельзя! Одних строениев сколько! опять же скот!

-- Да ты скажи мне, с каких ты-то радостей торгуешься? Или уж начал и нашим и вашим служить?

-- Я, сударыня, всякому служу, кто меня просит! Вы попросите -- вам послужу; другой попросит -- другому готов!

-- То-то "готов"! Обе стороны продать готов! Вас за такие дела знаешь как надо! Сказывай, народ-то смирен ли?

-- Самый покорный-с! Чтобы это возмущение или бунт -- и в заведении никогда не бывало!

-- Сорок -- и ни копейки больше!

Сказавши это, Нина Ираклиевна уже окончательно упиралась, и результатом этого упорства почти всегда оказывалась купчая крепость, вследствие которой, через месяц или через два, владелец "заведения" на Таганке продавал его, а сам, с отпускной в руках, поступал в то же "заведение" половым.

Еще чаще заставлял Порфиша у мамыши мужиков. Из комнаты несся запах дегтя и сермяжины и раздавались возгласы: "Где же взять-то, сударыня?" -- и неизбежный ответ на них: "А мне хоть роди да подай!" В большей части случаев мужики винулись, становились на колени и просили прощения, из чего Порфиша заключил, что все они обманщики и что мамаша напрасно теряет время, разговаривая с такими негодьями. Но изредка бывали и такие случаи, что мужик спорил и доказывал.

-- Ведь еще об рождестве я деньги-то отдал! -- горячился какой-нибудь Еремка, объясняя свою правоту.

-- Не получала я, никаких я денег от тебя не подучивала; -- запиралась Нина Ираклиевна.

-- Вот владычица видела, как я на самом этом месте все деньги отдал! -- упорствовал Еремка, указывая на висевший в углу приданный образ богоматери, перед которым всегда теплилась лампадка.

-- Может, и видела владычица, как ты отдавал, только кому-нибудь другому, а не мне!

--оборотню, что ли, я отдавал?

-- Пошел вон, подлец!

Мужик уходил; Нина Ираклиевна задумывалась, болтала ногами и некоторое время избегала смотреть на владычицу. В ней просыпалось что-то вроде упрёка; являлось колебание, не отдать ли?

-- Никак, и в самом деле он заплатил? -- шептали уста ее. Но Порфишу во всей этой сцене поражали лишь грубость

Еремки и дерзость, с которою он осмеливался обличать мамашу свидетельством владычицы. Заключение, которое он выводил из этого случая, было то же самое, как и тогда, когда мужик винулся и

просил прощения. И в первом случае мужик был обманщик, и во втором обманщик. "Стало быть, он обманывал, если прощенья запросил!" "Обманщик -- и еще смеет грубить!" -- так говорил он себе, все более и более убеждаясь, что формула "как ты смеешь?" есть самая удобная в сношениях с мужиком.

-- Мамаша! как он смеет тебе грубить! -- восклицал он, с воплем бросаясь в объятия Нины Ираклиевны.

Этот вопль окончательно улаживал все сомнения. Нина Ираклиевна успокоивалась, и Еремка уходил домой, унося с собой эпитеты нераскаянного и закоснелого, которые не обещали ему ничего хорошего в будущем.

Но верхом торжества Нины Ираклиевны были хозяйственные распоряжения, выражавшиеся в приказаниях, отдаваемых старостам и приказчикам.

-- У Васьки Косого лошадь хороша, так ее на барский двор взять, а ему похуже дать! Все равно ему пахать, что на хорошей, что на худой.

-- Слушаю, сударыня!

-- А у Матрены-бобылки избу взять и Прохору продать. А сама пусть в людях живет. А если хочет избу за собой оставить, пусть пятьдесят рублей отдаст.

-- Где ей эконо место денег взять, сударыня!

-- А негде взять, так пусть не прогневаётся! И в людях поживет!

-- Слушаю, сударыня!

-- То-то "слушаю". Ты слушай, а не разговаривай, что негде ей денег взять. Все вы потатчики!

-- Кажется, стараемся, матушка!

-- Все вы стараетесь! Ты мне вот что скажи: за Федькой-то Долговязым до сих пор овца в недоимке числится... А! Скоро ли я дождусь?

-- Одна у него, сударыня! Говорит: пуцай прежде объягнится!

-- А знаешь ли ты, что за такие слова вашего брата в солдаты отдадут! Мне чтоб была овца! У тебя со двора сведу, если через неделю Федька не приведет!

И так далее и так далее.

Вслушиваясь в эти разговоры и постоянно обращаясь среди всякого рода получений, Порфиша невольным образом и сам получил вкус к финансам. Я не думаю, конечно, чтобы он относился к процессу созидания сознательно и чтобы в нем уже зародилась та доза канальства, которая в этом случае потребна, но едва ли ошибусь, сказав, что, как бы ни было поверхностно действие получаемых в детстве впечатлений на человеческое сознание, все-таки они не пропадают бесследно. Сначала эти впечатления втесняются в виде разрозненных фактов, но потом, мало-помалу, одни отдельные факты начинают цепляться за другие и дают повод для сравнений и сопоставлений. Память хранит целый запас фактов, которые, казалось, прошли в свое время мимо, не возбуждив даже внимания, но на деле оказывается, что они не только не исчезли, но выступают во всей своей свежести и ясности, и выступают именно в ту самую минуту, когда всего более чувствуется их пригодность. Порфиша уже освоился с формой денежных знаков, он слышал щелканье счетов, видел мужика, и хоть поверхностно, но все-таки поражен был энергическим выражением "хоть роди да подай", к которому любила прибегать Нина Ираклиевна. Этого достаточно было, чтобы в свое время память выдвинула все эти факты, и жизненный опыт нашел для них надлежащее место в общей экономии мирозерцания.

Ни Менандр Семенович, ни Нина Ираклиевна не думали сделать из сына своего финансиста, которому впоследствии суждено будет возвыситься до идеи о всеобщем ограблении. Да вряд ли в воспитательной практике того времени и можно было найти примеры подобной специальной подготовки. В то время люди воспитывались без всяких заданных тем; требовалось только, чтоб они были понятливы, шустры и готовы на все. Что выйдет из этого впоследствии, то есть в каком именно видоизменении "свободы телодвижений" найдет себе выход эта готовность на все, -- об этом никто не задумывался. Всякий отец и всякая мать имели только

одну заботу: чтоб ребенку хорошо было жить на свете. А это представлялось возможным лишь тогда, когда ребенок твердо усвоивал себе все условия окружающей среды. Поэтому, ежели школа и обучала ребенка закону божию, арифметике, грамматике, чистописанию, то главная воспитательная закваска лежала все-таки не в ней, а в той домашней обстановке, которая, независимо от азбучных прописей, сама по себе отчеканивала и натуральных юристов, и натуральных администраторов, и натуральных финансистов.

Тем не менее, ежели бы Порфиша воспитывался исключительно под влиянием отца и матери, из него, конечно, образовался бы только обыкновенный рутинный финансист, на манер финансистов доброго старого времени. Он копил бы деньги без дерзости, считал бы их, крепко-накрепко замыкал бы замки в денежных помещениях и затем умер бы, приобретя на полученный в наследство миллион еще какой-нибудь такой же миллион. Но было обстоятельство, которое значительно расширило его финансовый кругозор и помогло ему сойти с рутинной дороги. Этим возбуждающим стимулом, пролившим живоносный свет на дальнейшие судьбы Порфиши, были отыскивающие княжеского достоинства братья Тамерланцевы.

Георгий и Иван Матрюковичи Тамерланцевы приходились по матери двоюродными братьями Нине Ираклиевне и были чистокровные осетинцы. Специальность их заключалась в том, что они не имели постоянного места жительства и переезжали с одной ярмарки на другую. Сверх того, они были прекрасно обучены на миллиарде, отыскивали княжеское достоинство, занимались покупкой и продажей лошадей, а в карты играли так чисто, что ярмарочные шулера называли их не иначе, как "благородными людьми".

Отец их, Матрюк Булатович, был неизвестного происхождения осетин, перебежавший некогда к русским, поступивший в инородческий эскадрон в чине корнета и тотчас же начавший отыскивать княжеское достоинство. Многие высокопоставленные лица помогали ему в этих домогательствах, но безуспешно. Доказательств у него не было никаких, кроме собственных

рассказов, из которых явствовало, что на родине, в Осетии, у него была сакля и две козы.

-- Саклем владал, пара коза кормил, ружьем ходил, свинья убивал! -- наивно объяснял он средства своего существования в состоянии дикости, но достоверности даже этих бедных показаний ничем подтвердить не мог.

Осетия в то время еще не состояла во власти русских, следовательно, не существовало ни губернского правления, ни даже земского суда, через которые можно было бы доподлинно узнать, действительно ли обладание двумя козами составляет, по местным законам, признак княжеского достоинства. Поэтому герольдия медлила, затруднялась и требовала каких-то поколенных росписей, а Матрюк, ничему не внимая и ничего не понимая, твердил одно:

-- Саклем владал, ружьем ходил, свинья убивал!

В таком положении находилось это дело в то время, когда Матрюк, дослужившийся до ротмистра и принявший фамилию Тамерланцева, умер, оставив после себя двух сыновей: Амалата и Азамата. Умер он верным мусульманином, хотя сам Ферлакур неоднократно убеждал его, как дальнего родственника по жене (в это время мелкопоместный князь Кркулидзе женился на Матрюковой сестре, Магуль-Мегери, во святом крещении Марье Булатовне), оставить заблуждения и познать свет истинной веры. Но Матрюк, выслушав убеждения, постоянно задавал Ферлакуру один и тот же вопрос:

-- У тебя, бачка, много жена?

-- Одна.

-- Ну, а мне двадцать один жон довольна!

Но когда Матрюк умер, сыновей живо окрестили и отдали в кадетский корпус, переименовав старшего из Амалата в Георгия, а младшего -- из Азамата в Ивана. В корпусе оба брата отличались необыкновенною ненавистью к наукам и особенной страстью к восточной магии и к телесным упражнениям, требовавшим ловкости и силы. Когда они вышли в офицеры, то уже знали весьма значительное число фокусов и потому смотрели в глаза будущему

совершенно спокойно, почти светло. Это были необыкновенно развитые в телесном отношении молодые люди, с смуглыми, очень красивыми, хотя и совершенно безжизненными лицами, наподобие масок. У обоих братьев были широкие сильные скулы, черные как смоль волосы и глаза и на правой щеке по большому родимому пятну, увенчанному волосами. Амалат пел очень приятным басом, Азамат -- тенором; оба -- плясали лезгинку, как истые горцы. Женщины вольного обращения были от них без ума; старушки, занимавшиеся покровительством скромным молодым людям, заметив их в театре, интересовались узнать их фамилию. В полку, куда они поступили, их тоже полюбили, потому что они охотно принимали участие в так называемых историях, и, кроме того, никто не мог выпить столько, сколько выпивали братья Тамерланцевы. Словом сказать, молодые люди были хоть куда.

Благодаря покровительству лиц, помнивших еще незабвенные услуги, оказанные покойным Машрюком, им предстояла, конечно, довольно видная военная карьера в будущем. Быть может, им суждено было даже принять когда-нибудь деятельное участие в воссоединении Осетии, но они сами испортили все дело. Однажды Амалат запрет в телегу тройку жидов и одного из них загнал, а Азамат в то же время поймал трех жидовок, вымазал их дегтем, обвалял в перьях и пустил по городу (это происходило в одной из западных губерний). К несчастью, и жида и жидовки принадлежали к числу упорных, не шедших ни на какие соглашения, так что дело нельзя было "замять", и братья вынуждены были оставить полк.

Тогда братья обратились к проворству рук и к покровительству чувствительных старушек. У них появились рысаки, экипажи и на всех пальцах бриллиантовые перстни, которые они, поносив немного, заменяли очень хорошими стразовыми. Жизнь они вели бродячую, цыганскую: покупали, продавали, прогорали и опять возрождались, бывали даже биты. Во всех городах, где существовали мало-мальски значительные ярмарки, они являлись непременно посетителями, устраивались на постоянных дворах, как у себя дома, расстилали на полу и., на голых скамьях персидские ковры и на все время ярмарки заводили, как говорится, дым коромыслом. Кончится

ярмарка -- исчезнут и они, исчезнет и дым, которым они наполняли свои временные пристанища. Не успеют оглянуться -- они уже на другой ярмарке; опять расстилают ковры, покупают, продают, мечут и понтируют.

Иногда, впрочем, они основывались и в одном и том же городе на довольно продолжительное время. Это бывало в тех случаях, когда верхнее чутье докладывало им, что в таком-то месте есть некто, около которого можно пощечиться. Тогда они знакомились с помещиками, представлялись губернатору, называли себя политическими изгнанниками, прикидывались завидными женихами и не прочь были занять денег под залог осетинских виноградников. В провинциальных обществах их принимали очень радушно, во-первых, потому, что они носили крупные стразовые запонки, а во-вторых, потому, что были малые на все руки. Перекинуть ли направо-налево, устроить ли для девиц *petits jeux* {игры.}, рекомендовать ли лошадку, спеть ли модный тогда романс "Черную шаль", причем с особенным чувством проскрежетать:

Ко мне постучался презренный еврей... --

на все это они так охотно соглашались, что, где бы они ни появились, общество немедленно оживлялось. Об Осетии они рассказывали чудеса. Как злой дядя, за два абазы, продал их в Кахетию, и как отец ночью обратно их оттуда украл; какая у отца их была неприступная крепость, из которой он делал на русских набеги; какой удивительный рос у них виноград, какие вкусные чуреки делала их мать, как прекрасен Казбек при восходе солнца и проч. и проч. Словом сказать, объясняли все, что можно было почерпнуть из производивших тогда фурор повестей Марлинского. И в доказательство своего подлинно осетинского происхождения затягивали песню, в которой слышались только гортанные звуки: га-го-ги! но которая заставляла их заливаться горькими-горькими слезами.

Вообще, Тамерланцевы имели то свойство, что коль скоро проникали в какой-нибудь дом, то незаметно делались в нем своими людьми. Они умели побалагурить с лакеями, перемигнуться с горничными, привлечь на свою сторону детей и так убедительно

просили хозяев не церемониться с ними и не беспокоиться их присутствием, что тем оставалось только махнуть рукою. В самое короткое время, хотели или не хотели хозяева, они утверждались в доме самым прочным образом. Лакеи, чутьем слышав приближающийся экипаж, бросались к подъезду и наперерыв провозглашали: "Пожалуйте-с! господа только что за стол сели-с", или: "Пожалуйте-с! господ дома нет, да они сейчас будут-с!" И начинали суетиться, готовить закуску, словно принимали самых близких родных. Горничные просовывали в дверь головы, в ожидании щипка или поцелуя. Дети с гиком и гамом устремлялись навстречу, вооруженные свистульками, гремушками и трещотками. Даже повар -- и тот говорил: "Сегодня у нас молодые господа будут обедать" -- и требовал от экономки усиленной пропорции сахару, яиц и масла. Хозяева, обольщенные приятными манерами и услужливостью братьев, сначала тоже были вне себя, когда же потом начинали изыскивать способы, каким бы образом избавиться от их вездесущия, то было уже поздно. Тамерланцевы уже крепко держались на всех пунктах, и едва появлялись перед ними недоумевающие лица хозяев, как они самым любезным образом восклицали:

-- Евдоким Григорьич! Анна Павловна! не церемоньтесь с нами! пожалуйте, занимайтесь вашими делами! Мы здесь с детьми. Кирюша! Параша! Ведь мы поедем сегодня в Москву? А? Вот так: туру-туру... га! в Москву поехали!

И Евдоким Григорьич отправлялся в кабинет, плюнув и говоря Анне Павловне:

-- Нет уж, матушка, ты сама! Сама приучила этих эфиопов, сама, как хочешь, и разделявайся с ними!

Нельзя сказать, чтоб это было с их стороны предумышленно. Скорее всего, они бессознательно стремились всюду, где можно было что-нибудь урвать или урезать, и вообще имели так называемый чертов инстинкт. Всякий очень скоро убеждался, что братья глупы и что, следовательно, искать в их действиях какого-нибудь злого умысла -- нет повода; но всякий, в то же время, ощущал, что десятки самых злых озорников не в состоянии были бы привести человека в

такое незащищенное положение, в какое приводили эти два бессознательных и бесконечно покладистых шалопаев.

Нина Ираклиевна почти испугалась, когда ей доложили, что ее желают видеть князья Тамерланцевы.

-- Тети Машины дети! -- воскликнула она в недоумении, по тут же, не потеряв присутствия духа, обратилась к Менандру Семеновичу и прибавила: -- Ради Христа, не давай ты им денег!

Свидание произошло; Велентьевы были сдержанны; кузены предупредительны и нежны.

-- В государственной службе, господа, состоите? -- спрашивал Менандр Семенович.

-- Нет, братец, способностей не имеем, -- скромно отвечали братья.

-- Ну, способности тут не бог знает какие требуются!

Братья посидели, раскланялись и уехали; затем в течение недели они еще два раза навестили Велентьевых и каждый раз называли Нину Ираклиевну *belle cousine* {прекрасной кузиной.}, уверяли, что она вполне сохранила тамерланцевский тип, и так крепко и часто целовали у нее ручки, что она невольно конфузилась и жалась. Порфише (ему минуло в то время одиннадцать лет) они, на другой же раз, подарили книжку с картинками, так что не пригласить их обедать было уже совестно. Затем, хотя после обеда Тамерланцевы и попросили у Менандра Семеновича денег взаймы, но, получив отказ, не только не обиделись, но очень любезно воскликнули:

-- Братец, забудьте! пусть денежные расчеты не расстраивают наших родственных отношений! Забудьте! нам не нужно денег! мы не просили их!

Словом сказать, с Велентьевыми повторилась та же история, что и с другими. Как ни чутко держали они себя относительно братьев, но устоять против естественного течения обстоятельств не могли. Постепенно учащая свои визиты, они каждый раз умели чем-нибудь подслужиться: Нине Ираклиевне подарили настоящий персидский ковер, Порфише навезли целый ворох игрушек, наконец у Менандра Семеновича попросили позволения осмотреть его

лошадей, нашли у одной из них подсед и дали такой мази, от которой в два дня подседа как не бывало.

-- Совсем было думал продать лошадь! -- говорил Велентьев, -- а теперь опять хоть куда! Благодарю!

-- Вы, братец, насчет лошадей, пожалуйста, ни к кому не обращайтесь! -- упрашивали Тамерланцевы, -- у нас теперь на примете одна пара есть... ах, какая это пара!

И действительно, почти за бесценок, сосватали Велентьеву такую пару, что сам инспектор врачебной управы, вкупе с отставным кавалерийским полковником, как ни осматривали животных, не могли найти в них ни одного порока.

Но сомнение уже мучило Менандра Семеновича, и по временам он выражал его довольно энергично.

-- И черт их знает, что за народ такой! -- рассуждал он сам с собою, -- цыгане не цыгане, венгерцы не венгерцы, шулера не шулера... иностранцы какие-то!

И он на всякий случай пробовал, достаточно ли крепко заперты ящики его письменного стола, и, удостоверившись, что крепко, отправлялся на половину к Нине Ираклиевне.

-- Да полно, братцы ли они тебе? -- спрашивал он ее.

-- Тети Машины дети-то! неужто ж я не знаю!

-- И все-таки, ты бы запирала! Эти братцы... право, уж и не знаю!

Мало-помалу Тамерланцевы приобрели дружбу лакеев и горничных, а в особенности полное доверие Порфиши. Тогда они уж без церемонии стали таскаться и завтракать и обедать. Сидит Менандр Семенович в кабинете и деньги считает -- глядь, братцы приехали! В зале беготня, пение, стук, треск; Азамат учит Порфишу лезгинку танцевать, Амалат аккомпанирует на фортепьяно и выкрикивает: га-го-ги! Лакеи, бегают из столовой в буфетную и обратно, стучит тарелками, ножами и готовит закуску. Менандр Семенович некоторое время терпит и старается разрешить себе задачу: два да пять, сколько будет? но сколько он ни прикладывает

на счетах -- все выходит или одним рублем больше, или одним рублем меньше. Наконец он, как ужаленный, выбегает в буфетную.

-- Тебе кто велел? -- накидывается он на лакея, поспевающего с подносом в руках в столовую.

-- Как же-с, ведь братцы-с! -- отвечает лакей, очевидно даже изумленный, что ему мог быть предложен такой странный вопрос.

Менандр Семенович краснеет, покрюкивает и уже не настаивает больше. Он с грустной покорностью снимает с себя халат, надевает домашний казинетовый казакин и отправляется в столовую, предварительно удостоверившись, что все ящики заперты и все в кабинете цело.

А братцы уже спешат к нему навстречу и в один голос восклицают:

-- Братец, напрасно беспокоитесь! Мы здесь с Порфишей!

Но Менандр Семенович уже чувствует, что утро у него отравлено и что, где бы он ни был, в столовой ли, в кабинете ли, мысль о "братцах" везде будет его преследовать. Поэтому, он усаживается за стол и принимает геройское решение занимать братцев.

-- Я говорю: вы бы, господа, в государственную службу шли! -- начинает он, краснея и сам не зная, о чем, собственно, он ведет речь.

-- Способности, братец, не имеем.

-- А вы бы принудили себя!

-- Старались, братец, да ничего не вышло.

-- Гм... странно это! Молчание.

-- Да вы, братец, напрасно себя беспокоите! Мы здесь вот с Порфишей, а не то, немного погодя, к кухне Ниночке пройдем! -- опять начинают братцы.

-- Нина Ираклиевна занята. Я тоже. Признаться, я даже не понимаю, как можно без занятий жить! -- говорит Менандр Семенович, уже не скрывая своих недоумений.

Но братцы как бы забавляются этими недоумениями.

-- Мы, братец, тоже занимаемся, -- отвечают они, -- только занятия у нас кратковременные. Вот и сегодня утром пару лошадей присмотрели... ах, какая это пара!

-- Какое уж это занятие -- лошади!

Тщетно все. Как ни старался Велентьев выжить братцев -- они словно приросли. В доме все цело; денег в другой раз не просят -- а между тем, как ни посмотришь, все тут. Иногда он даже желал, чтоб они что-нибудь украли (разумеется, не весьма ценное), лишь бы без шума отделаться от них.

-- Я, сударыня, с ума скоро сойду! -- жаловался он жене. -- Выйти из кабинета нельзя: один в зале с Порфишей, другой в коридоре с Агашкой шушукается. Сведет он ее у нас!

-- А коли сведет, так и купит. По мне, ежели хорошую цену даст... и бог с ними!

А братцы между тем забрали уже себе в голову, что Порфиша года через четыре будет гусарским юнкером и что, следовательно, имеются в перспективе векселя под верное обеспечение смерти любезнейших родителей. Как ни отдаленны были эти надежды, но как другого дела покамест у них не было, то приручение Порфиши представлялось целью очень привлекательною и даже практическою...

С своей стороны, Порфиша очень хорошо понял дяденек. Он угадал в них присутствие именно того элемента легкомыслия, перемешанного с жульничеством, которого ему недоставало и без которого истинный финансист все равно что тело без души. Он видел, что дяденьки всегда свободны, беззаботны и веселы; что они ничем не занимаются, а между тем бросают деньгами, как щепками; что у них во всякое время -- неистощимый запас игр, выдумок и фокусов. Все это, вместе взятое, произвело на него подавляющее впечатление, и в самое короткое время он до такой степени страстно прилепился к дяденькам, что даже перестал следить за финансовыми операциями родителей.

Первый сделанный перед ним фокус особенно его поразил. Дядя Амалат вынул из кармана золотой и показал его Порфише.

-- Видел? -- спросил он его.

-- Видел.

Амалат положил золотой на ладонь и зажал его в кулак.

-- Видел? тут золотой? -- спросил он опять, разжимая кулак и вновь сжимая его.

-- Тут.

-- Ну, теперь смотри!

Амалат сделал рукой движение, но до такой степени быстрое, что Порфиша мог только заметить, что у него что-то мелькнуло в глазах. Потом Амалат разжал кулак и показал Порфише пустую ладонь.

-- Клац! где золотой?

Порфиша вытаращил глаза и машинально повторил:

-- Где золотой?

-- Ну, теперь обыскивай меня; если сыщешь -- твой золотой!

Но сколько Порфиша ни искал -- золотого нигде не оказалось. Тогда Амалат повторил свой фокус наоборот, то есть показал, как в пустых руках -- клац! -- вдруг оказалось по два золотых.

-- Дяденька! -- захлебывающимся голосом простонал Порфиша.

В другой раз на сцену выступил Азамат и изобразил штуку еще почище, а именно: взял колоду карт и показал ее Порфише.

-- Видел? Вся колода карт тут?

-- Вся.

-- Теперь сказывай, какую ты карту хочешь?

-- Двойку пик.

Клац! -- Азамат выбросил двойку пик.

-- Может, ты еще двойку пик хочешь?

-- Еще двойку пик хочу.

-- Держись!

Клац! -- Азамат опять выбросил двойку пик.

-- Может быть, ты и еще двойку пик хочешь?

Но Порфиша уже не отвечал, а только взглядывал на дяденьку с разинутым ртом.

-- Ты, может быть, хочешь, чтоб вся колода была из двоек пик? смотри!

И Азамат одну за другой стал кидать двойки пик. Это до того поразило Порфишу, что он заплакал, как бы обидевшись, что дяденьки смеются над ним.

-- погоди, мы еще не то тебе покажем! -- утешали его братья Тамерланцевы.

Когда дяденьки ушли, Порфиша взял в руки грош и старался произвести с ним ту, же эволюцию, какую Амалат производил с золотым, но ничего из этого не вышло. Потом он попробовал то же самое сделать наоборот, то есть сжал пустые кулаки, махнул ими крест-накрест в воздухе, сказал: "клац!" -- но и тут ничего не вышло.

-- Дяденька! -- приставал он, -- покажите, как вы делаете?

-- погоди! вот будешь большой -- до всего дойдешь! Слова эти глубоко запали в душу Порфиши. Он повторял

их и старался угадать, что такое это "все", до чего он со временем дойдет. Постепенно он стал задумываться и сделался рассеянным. Процесс созидания, царствовавший в доме родителей, уже не удовлетворял его, тем более что дяденьки, по мере ближайшего знакомства, начали открыто смеяться над скопидомством Менандра Семеновича.

-- У твоего отца много денег? -- спрашивал его Амалат.

-- Много.

-- А знаешь ли ты, как он деньги копит?

-- Как?

-- А вот как, смотри!

И Амалат клал на стол золотой, накладывал на него другой, третий и т. д., причем пыхтел, побрякивал, пожимался и озирался кругом.

-- Так?

Порфиша не отвечал, но ему и самому уже начинало казаться, что "так".

-- Ну, а мы вот как: сколько ты хочешь, чтоб у меня было в горсти золотых?

-- Двадцать!

-- Эка хватил! Ну, держи руки, отсчитывай!

Дяденька делал вид, как будто ловил что-то руками в воздухе, и затем отчеканивал монету за монетой до двадцати.

Нина Ираклиевна первая заметила, что Порфиша задумывается, начинает любить уединение, шевелит губами, как бы разговаривая сам с собой, делает какие-то странные движения руками, то сжимает кулаки, то разжимает их.

-- Не болен ли ты, мой друг? -- спросила она однажды сына.

-- Нет, здоров.

-- Что же ты ходишь точно растерянный?

Порфиша остановился и показал мамаше руки.

-- Вы это видели?

Нина Ираклиевна с изумлением смотрела, как он растянул руки наподобие фокусника, потом быстро махнул ими крест-накрест и сказал:

-- Видели, что ничего не было? Теперь смотрите! Клад! Видите?

-- Что видеть-то! Разжал пустые кулаки -- только и всего!

-- Ничего вы не понимаете! Вы только и умеете, что копейку к копейке прижимать, а я вот -- клац! -- сколько захочу денег, столько и будет!

Нина Ираклиевна беспокойно взглянула ему в глаза.

-- Это все Амалатка с Азаматкой! -- прошептала она.

В этот же день, после обеда, Порфиша был призван, на аудиенцию к отцу.

--- Какое ты давеча слово мамаше сказал? -- спросил Менандр Семенович.

Но Порфиша не только не струсил, но отвечал даже дерзко:

-- Какое слово? Клац! вот какое слово!

-- Что же оно означает?

-- А вот что!

Порфиша вытянул обе руки, сжал кулаки, встряхнул ими и сказал отцу:

-- Клац! видели? Сколько захочу, денег, столько и будет!

-- Да-с, это они! это Мاستрюковичи! -- обратился Велентьев к жене, -- это они его фокусам обучают!

Но какие ни принимали Велентьевы меры, чтоб устранить влияние дяденек, все было напрасно. Тамерланцевым было отказано от дому, но домашние так полюбили их, что нисколько не мешали Порфише бегать к дяденькам после обеда, когда папаша и мамаша опочивали от трудов. Однажды, прибежав к ним, он застал в их квартире что-то не совсем обыкновенное.

Единственная приемная комната была полна народом; на столе, около печки, красовалась закуска и несколько наполовину опорожненных бутылок и штофов; облака дыма выедали глаза. Дядя Азамат сидел за большим зеленым столом и метал; дядя Амалат помещался сбоку и распоряжался кассой. Кругом стола сидели неизвестные личности в мундирных сюртуках, венгерках и казакиных; перед каждым лежали игранные колоды карт, из которых они с нервным движением вытаскивали то одну, то другую карту и клали на стол. Там и сям виднелись столбики золота, которое не считали, а передавали из рук в руки кучками, как бы на глазомер. На пальцах рук обоих братьев сверкали перстни. Порфиша, не ожидавший такого зрелища, оторопел.

-- Ва-банк! -- крикнул кто-то в ту самую минуту, как он вошел.

Руки у дяди Азамата чуть дрогнули; но Амалат так ясно сверкнул в его сторону глазами, что банкочет тотчас же овладел собой и передернул столь чисто, что известный шулер, майор Белокопытов, присутствовавший тут же и понтировавший только для виду, крякнул от наслаждения.

Игра кончилась. Порфиша видел, как грудa золота перешла в руки дяденек, и посмотрел на них почти с благоговением.

-- Видишь! -- сказал ему Азамат, когда разошлись гости, -- а твой отец еще говорит, что мы только граним мостовую. Может ли он в целый век столько денег добыть, сколько мы в один час добыли!

-- Дяденька! как вы это делаете?

-- Нет, брат, тебе еще рано. Вырастешь -- сам до всего дойдешь. Главное, чтоб охота была, а умение придет само собою!

Так длилось до тех пор, пока Амалат не получил наконец так называемую неприятность, вследствие которой братья вынуждены были оставить Семиозерск и искать убежища в другом городе.

Расчеты Тамерланцевых на Порфишу не оправдались. Он не сделался ни игроком, ни фокусником, ни гусаром. Тем не менее общество дяденек оказало на его будущее действие гораздо более решительное, нежели даже пример родителей. Если последние познакомили его с наружным видом денежных знаков и заронили в его душу первую мысль о созидании, то первые доказали воочию, что перл созидания -- это созидание из ничего. Тамерланцевы исчезли бесследно, но уроки их неизгладимыми чертами врезались в чуткой душе Порфиши. В той сумме впечатлений, которые даются человеку детством, примеры внешней ловкости и быстроты всегда представляют очень компактный и характерный слой. По удалении дяденек Порфиша сделался скучен и долгое время машинально делал быстрые движения руками, сжимал и разжимал пустые кулаки и тщательно рассматривал, не окажется ли там червонца. По-видимому, это были движения бессмысленные и ненужные, но будущее доказало, что они были необходимы и вполне уместны, ибо

служили как бы смутным прообразом тех приемов, которые должны были впоследствии составить его славу как финансиста.

Червонцев не оказалось, но вместо них -- кляц! -- неслышно и незримо уже зрел в его душе проект об изготовлении дешевой и долгосохраняемой колбасы.

Формальное воспитание между тем шло своим чередом. Хотя нельзя было сказать, чтоб Порфиша питал особенную страсть к наукам, тем не менее, до знакомства с дяденьками, дело образования ума и сердца кое-как шло. Некоторыми предметами он более или менее интересовался, а математику даже полюбил настолько, что с самозабвением принялся извлекать квадратные корни, как только этот математический прием был ему показан. Но с тех пор, как явились дяденьки и на первый раз объяснили ему задачу "летело стадо гусей", он постепенно делался все рассеяннее и рассеяннее. Все простое, все, что могло быть решено наглядным образом, опротивело ему. Мысль его неудержимо влеклась к неизвестному, сложному и до такой степени необыкновенному, что только чудо, вроде щучьего веления, могло освободить его от сетей, в которых путалось его воображение. Если б в то время кто-нибудь шепнул ему о квадратуре круга или о непрерывном движении, он наверное со всем пылом юношеской горячности увлекся бы этими задачами и стал бы с утра до вечера вертеться около них, как белка в колесе. Но, увы! у него даже этого ограничения не было, а было только одно магическое слово "кляц!", за которым открывалась пустая и бездонная пропасть. В этой бездне, среди целого мира чудес, свободно парило воображение, питая само себя и гадливо отвращаясь от всего, что напоминало о действительности. Понятно, что при таком болезненном настроении умственных сил Порфише было уже не до квадратных корней, которыми пичкал его Менандр Семенович.

На четырнадцатом году Порфишу отдали в одно из аристократических заведений Петербурга, едва ли не в то же самое, в котором воспитывался и Коля Персианов. Выбор этого заведения Менандр Семенович следующим образом формулировал в письме к

княгине Ферлакур: "Вы знаете, добрейшая! моя благодетельница, -- писал он ей, -- что я не аристократ по происхождению. Хотя и отец мой и деды, в течение, может быть, многих столетий, возносили подателю всех благ молитву; о принесенных честных дарах, но ведь молитва в заслугу у нас не принимается, следовательно, если б я даже мог доказать, что происхожу по прямой линии от Аарона, то и тогда никто бы меня за аристократа не счел. Но аристократия любезна моему сердцу потому, что назначение ее -- вливать в государственный организм возвышенный дух. Аристократия полезна даже и в том случае, если она ничего действительно, полезного не совершает. Она полезна потому, что она есть. Вспомните, чем я был до поступления в ваш почтеннейший дом, и что сделали из меня вы! Вот почему я желал бы, чтоб мой Порфирий был с детских лет окружен юношами благородных фамилий. Через сношение с ними он получит возвышенные чувства, которые, притом же, будучи по матери потомком древнего рода князей Кркулидзевох, он и от природы весьма склонен иметь. В особенности было бы хорошо, если б он сии чувства мог приобретать на казенный счет, к устройству чего вы, моя незабвенная благодетельница, всеконечно, имеете все пути".

Порфиша был принят, но в заведении участь его была не из самых завидных. Во-первых, товарищи скоро узнали, что отец его происходит из духовного звания и, к довершению всего, служит советником питейного отделения, тогда как их отцы были не только сами егермейстеры, но и дети детей егермейстерских. Поэтому они начали явно выказывать ему чувство гадливости, которое было тем тягостнее, что сопровождалось приставаниями и весьма недвусмысленною назойливостью. Одни, проходя мимо него в саду, снимали фуражки и крестились; другие делали вид, что кадят; третьи -- показывали рукой хапанца, как эмблему питейного отделения; четвертые, наконец, рисовали хапанца на бумаге и утверждали, что это герб рода Велентьевых. Во-вторых, княгиня Ферлакур, выхлопотавши помещение Порфиши в заведение на казенный счет, этим и ограничила свои попечения об нем. В это время ей было не до Велентьевых, потому что ее занимал вопрос о воссоединении латышей, с которыми была тесно связана личность генерала Толоконникова.

Таким образом, Порфиша рос в заведении одинокий и забытый. По праздникам товарищи разъезжались по домам, ездили на лихачах, лакомились в кондитерских и ресторанах, а он сидел в заведении, ел говядину под красным соусом, давился суконными пирогами и выслушивал сарказмы гувернера, которому тоже до смерти опостытели стены заведения и который охотно променял бы их на стены ресторана Доминика, где есть бильярд, домино и т. д.

-- Mais, malheureux jeune homme! {несчастный молодой человек!} -- укорял его мсье Петанлер. -- Vous n'avez donc ni pere, ni mere, ni parents, personne qui puisse vous abriter! Ah! c'est singulier! {У вас, значит, нет ни отца, ни матери, ни родственников, никого, кто мог бы вас приютить! Удивительно!}

-- Personne, monsieur {Никого.}, -- угрюмо отвечивал Порфиша и с каким-то нервным нетерпением выслушивал вечером рассказы товарищей о том, сколько они съели, в течение дня, пирожков и порций мороженого, в какой кондитерской делаются лучшие конфеты и у какого извозчика лучше бежит рысак.

Это одиночество еще сильнее развило в Порфише ту мечтательную сосредоточенность, начало которой было положено еще дома педагогическими откровениями дяденек. С нетерпением ждал он рекреационных часов, которые позволяли ему быть в стороне от товарищеской сутолоки, и как только звонок возвещал окончание класса, удалялся в сад, бродил по аллеям или садился на дерновую скамейку и мечтал. Перед ним проносился весь процесс созидания, виденный в детстве: столбики золота, бумажки новые (папашины), бумажки старые (мамашины), мужики, запах дегтя, тальки, овчины, сушеные грибы... И вдруг -- клац! -- вся эта обстановка исчезала, но исчезала лишь на минуту, для того, чтобы -- клац! -- появиться вновь, но уже не в руках папаши с мамашей, а в руках дяденек, которые он сейчас только видел пустыми. Вообще, как только появлялись на сцену дяденьки, видения шли за видениями, целыми вереницами, и принимали самый фантастический характер...

Не успел совсем стихнуть звонок, как уже воображение Порфиши работает. Он видит себя заблудившимся в лесу. Он бродит, выбивается из сил, молится, плачет -- все тщетно! Вдруг, словно из

земли, вырастает перед ним старик и подает червонец. Вручая червонец, старик говорит: ты можешь разменивать его сколько угодно, он всегда будет у тебя цел. Вот тема, за которую хватается фантазия и по поводу которой тотчас же начинает рисовать самые разнообразные практические применения. И лес и старик -- исчезают; остается только волшебный червонец. Порфиша мысленно отправляется с ним в кондитерскую, покупает пять пирожков и получает два рубля семьдесят пять копеек сдачи. А червонец тут как тут. Потом он отправляется в овощную лавку, покупает пяток яблок и получает сдачи два рубля девяносто копеек. Червонец опять тут как тут. Потом он идет в гостиницу, съедает бифштекс, оттуда опять в кондитерскую, где ест порцию мороженого, везде получает сдачу и везде удостоверяется, что драгоценный червонец неприкосновен. В этих мысленных экскурсиях застаёт Порфишу звонок; он медленно идет в класс, но и там, за уроком, начатая работа мысли не прекращается. Он складывает, умножает, поверяет и получает проценты...

Тогда фантазия начинает другой сон, другую сказочную легенду.

Перед Порфишей -- прыгающая лягушка, за которую он гонится и которую тщетно старается убить. Вот он уже настигает ее, вот настиг, как вдруг -- клац! -- перед ним уж не лягушка, а древняя сморщенная старуха, которая говорит ему: "Тут, под этой старой липой, лежит несметный клад; разбойник Кудеяр зарыл котел с золотыми деньгами и посадил эту самую липу". Сказавши это, старуха исчезает, а фантазия Порфиши цепко хватается за новую тему и начинает, по ее поводу, новый процесс созидания. Что клад будет в руках Порфиши -- это не может подлежать сомнению. С этой целью он встает по ночам, неслышными шагами пробирается мимо дремлющего дядьки, отпирает наружную дверь и, вооруженный заступом, выходит в сад. Аллеи длинны и темны; кругом -- тишина и загадочность; издали, в форме неопределенного шороха, то возрастающего, то смолкающего, доносится шум неусыпающего города. Но Порфиша не останавливается ни перед таинственностью ночи, ни перед приливами и отливами городского шума. Он спешит к цели и начинает рыть. Он один выполнит эту трудную задачу, потому что ни с кем не хочет разделить свою добычу. Не то чтобы он

был безгранично жаден, но ему улыбается мысль, что вдруг -- клац! - и он обладатель миллионов. Однако что-то уж звякнуло... это он! это котел с империалами! Порфиша судорожно вскрывает крышу, черпает, черпает; но более пуда золота зараз унести не может. Сколько золотых в пуде? Сколько составит это в переводе на кредитные рубли? Опять звонок, опять класс. Учитель латинского языка тщетно допрашивает Порфишу об исключениях на is. "Amnis, anguis, axis", -- бормочет Порфиша, и окончательно становится в тупик. Коли хотите, он знает и дальше: calis, canalis и проч., но он не о том думает. Он видит перед собою другую безлунную ночь, потом третью, четвертую и так далее, пока воображение вновь не запутывается в собственных тенетах.

Ученье шло туго, несмотря на то что Порфиша уже дома знал гораздо больше того, что требовалось в том классе заведения, в который он поступил. Постоянно живя в обществе призраков, он сделался рассеян, впал в полудремотное состояние. Это повлияло и на его поведение, или, лучше сказать, на те отметки, которыми в заведении выражалась степень внешнего благочиния воспитанников. Он был тих и смирен, никогда не повесничал, не приставал, не грубил, но начальствующим почему-то казалось, что в сердце этого мальчика свил гнездо порок. Француз-гувернер называл его не иначе как "malheureux jeune homme" {несчастный молодой человек.}, гувернер-немец утверждал, что спасти злосчастного юношу может только один педагогический прием, а именно прием, носящий специальное наименование "внезапно данной пощечины".

С родителями Порфиша виделся только летом, во время каникул. Но и к ним он поставил себя в какие-то странные, натянутые отношения. Приезжая в Семиозерск, он заставал в родительском доме тот же процесс простого созидания, которому он был свидетелем и до поступления в заведение. По-старому отец запирался каждое утро в кабинете, щелкал на счетах и по истечении урочного времени выходил из своего заключения весь красный, как бы стыдящийся. По-прежнему мать спекулировала мужиком, спорила, торговалась и в конце трудового дня укладывала в пачки замасленные кредитные билеты. Но после тех снов наяву, которые

постоянно проносились перед Порфишей, снов с кладами, неразменными червонцами, разрыв-травами и проч., -- это кропотливое копеечное созидание не могло не показаться ему просто жалким.

-- А вы по-прежнему копеечку к копеечке прижимаете-с? -- спросил он мать в первый же раз, как увиделся с ней после годовой разлуки.

В первую минуту Нина Ираклиевна приняла эти слова за шутку; но тон, которым они были сказаны, дышал такой несомненной язвительностью, что она вдруг догадалась и словно замерла с пачкой кредитных билетов в руках.

-- Курочки-с! талечки-с! грибки-с! -- продолжал между тем Порфиша, отчетливо отчеканивая каждое слово.

Нина Ираклиевна переполошилась не на шутку.

-- Да ты что это, щенок, говоришь? -- крикнула она на него почти испуганно.

Но Порфиша не сконфузился даже перед этим восклицанием. Некоторое время он исподлобья, с идиотскою иронией, взглядывал на мать, шевелил губами и делал вид, что едва удерживается от смеха. Наконец встал и, удаляясь из комнаты, произнес:

-- Продолжайте-с! Что же-с! Талечки-с! грибочки-с! овчинки-с! Похвально-с!

Вслед за тем подобное же недоразумение произошло у Порфиши и с отцом. Однажды Менандр Семенович стоял в передней и провожал дорогого гостя, то есть откупщика, который только что вручил "следующее по положению".

-- Напрасно беспокоились! -- говорил Менандр Семенович.

-- Помилуйте-с! Не я, а положение-с... святое дело! -- расшаркивался откупщик.

-- Положение -- это так; а все-таки... -- настаивал Менандр Семенович.

-- Совсем не "все-таки", а просто положение -- и больше ничего!

И т. д.

На эту-то сцену, бог весть откуда, нагрянул Порфиша. Но вместо того чтоб расшаркаться перед откупщиком и пожать ему руку, он пробежал мимо, как-то странно при этом хихикнул и вполголоса, но так, что все слышали, произнес:

-- Взяточки-с!

Словом сказать, и в школе и дома, благодаря педагогическому влиянию дяденек, Порфиша поставил себя особняком. И бог знает, куда привел бы его этот финансовый идеализм, если б не случилось обстоятельство, которое разом возвратило его к чувству действительности.

С переходом в старший курс умственные силы Порфиши вдруг пробудились снова. Совершилось нечто чудесное, но чудо было вполне достойно той науки, которая его произвела. Наука эта называлась "политической экономией" и преподавалась воспитанникам заведения как венец тех знаний, с которыми они должны были явиться в свет. После первых же лекций Порфиша вдруг почувствовал себя свежим и бодрым. Ему показалось, что на него пахнуло чем-то знакомым, что то, о чем он когда-то мечтал, уединившись в саду, снова проходит перед ним, но под другими, более ясными формами; что он вновь находится в обществе дяденек Амалата и Азам эта и что таинственное слово "клац!" постепенно утрачивает свою таинственность. Мир чудес, к которому он так страстно стремился, но который до сих пор представлялся его мысли смутно и беспорядочно, вдруг приобрел необыкновенную выпуклость, почти осязаемость. Прежде его вырочали фантастические видения в форме волшебниц, волшебников, кладов, неразменных червонцев -- теперь ему подавала руку сама наука; прежде процесс созидания зависел от случайностей, которые могли прийти и не прийти на помощь, смотря по тем ресурсам, которые представляла большая или меньшая напряженность воображения, теперь -- перед ним были всегда готовые и вполне солидные кунштюки, которые, вдобавок, носили название политико-экономических законов. Бред наяву продолжался, но это был уже бред серьезный, могущий, пожалуй, послужить материалом для любой докладной записки или для газетной передовой статьи.

В заведении, о котором идет речь, преподавалась политическая экономия коротенькая. Законы, управляющие миром промышленности и труда, излагались в виде отдельных разбросанных групп, из которых каждая, в свою очередь, представлялась уму в форме детской игры, эластичностью своей напоминающей песню: "коли любишь -- прикажи, а не любишь -- откажи". Вот, милостивые государи, "спрос"; вот -- "предложение"; вот -- "кредит" и т. д. Той подкладки, сквозь которую слышался бы трепет действительной, конкретной жизни, с ее ликованиями и воплями, с ее сытостью и голодом, с ее излюбленными и обойденными -- не было и в помине. Откуда явились и утвердились в жизни все эти хитросплетения, которым присвоивалось название законов? правильно ли присвоено это название или неправильно? насколько они могут удовлетворять требованиям справедливости, присущей природе человека? -- все это оставалось без разъяснения. Наука -- пустой пузырь с наклеенными на нем бессмысленными этикетками; жизнь -- арена, в которой регулятором человеческих действий является даже не борьба, а просто изворотливость, надувательство и бездельничество.

Порфише эта коротенькая наука пришлась по нраву. Она была как бы продолжением его детских снов, осуществлением таинственного "кляц!", которое так долго смущало его воображение. Слова: "спрос", "предложение", "кредит", "ажиотаж", "акционерные компании" -- не сходили у него с языка. Он скоро сделался любимейшим учеником профессора и отвечал на все вопросы так быстро и несмущенно, как будто ответы давно уже таились в нем, а теперь он отыскивал лишь приличную форму для них. Он понял науку не только в ее общих законах и выводах, а в самом действии. Он чувствовал себя участником этого действия и лично на самом себе испытывал последствия каждого экономического закона. Игра в "спрос и предложение" представляла целую повесть, исполненную разнообразнейших эпизодов; игра в "кредит" разрасталась в роман; игра в "ажиотаж" превращалась, по мере своего развития, в бесконечную поэму...

-- Кредит, -- толковал он Коле Персианову, -- это когда у тебя нет денег... понимаешь? Нет денег, и вдруг -- кляц! -- они есть!

-- Однако, mon cher, если потребуют уплаты? -- картавил Коля.

-- Чудак! ты даже такой простой вещи не понимаешь! Надобно платить -- ну, и опять кредит! Еще платить -- еще кредит! Нынче все государства так живут!

Коля удовлетворялся этим объяснением, во-первых, потому, что оно согласовалось с практикой, которой следовали его предки, а во-вторых, и потому, что оно отвечало его собственным видам и пожеланиям. Что предстояло Коле в будущем? -- ему предстояла жизнь праздная, легкая и удобная. На "производство богатств" он не рассчитывал, на "накопление" их -- и того менее. Из всех экономических законов, о которых гласила школа, на нем отражался только закон "распределения богатств" -- в виде оброков, присылаемых из деревень, да еще закон "потребления" -- в форме приобретения рысаков и производства всевозможных кутежей. Но, увы! действие закона потребления давало себя знать всегда как-то сильнее, нежели действие закона распределения, и потому он очень был рад, когда в форме "кредита" ему явился совершенно готовый исход из этого затруднения.

И чем дальше шла вперед наука, тем чудодейственнее и чудодейственнее становился открываемый ею мир. Хороша была игра, в силу которой "спрос" с завязанными глазами бегал за "предложением", а "предложение", в свою очередь, нащупывало, нет ли где "спроса"; но она уже представлялась простыми гулячками по сравнению с игрой в "ажиотаж" и в "акционерные компании", которая ждала Порфишу впереди. То был волшебный, жгучий бред, в котором лились золотые реки, обрамленные сапфировыми и рубиновыми берегами. Порфиша в каком-то экстатическом упоении утопал в этой светящейся бездне. Он был властелином биржи; перед ним преклонялись языцы в виде армян, греков и жидов. С недетскою проницательностью угадывал он момент, когда нужно было купить бумагу и когда нужно было ее продать. Или, лучше сказать, не угадывал, а сам устраивал этот момент. Он продавал, и за ним бросались продавать все. Происходила паника, вследствие которой на сцену являлось "предложение", а "спрос" был в отсутствии. Тогда он начинал покупать, и за ним бросались покупать все. Новая паника, вследствие которой на сцену являлся

"спрос", а "предложение" было в отсутствии. И все эти перевороты совершались с быстротой изумительной, ибо он понимал, что главное достоинство капитала -- это его подвижность и способность обращаться быстро. Насытившись биржевой игрой, он придумывал новые экономические комбинации: отыскивал неслыханные дотоле источники богатств, устраивал акционерные общества и т. д. Мысленный взор его устремлялся всюду: и на Ледовитый океан, в котором мирно плавали стада китов, тюленей, морских коров и т. д., и на Скопинский уезд, в недрах которого без вести пропадали залежи каменного угля, и на Печорский край, реки которого кишели семгой, нельмою и максуном. Открывши новый источник богатств, он немедленно устраивал акционерную компанию, но, выпустив акции и продав их с премией, не останавливался подолгу на одном и том же предприятии, а спешил к другим источникам и другим акционерным обществам.

Это была какая-то лихорадочная, неусыпающая деятельность, тем более достойная удивления, что она носила чисто отвлеченный характер. Процесс накопления доставлял Порфише неисчерпаемый источник наслаждений, независимо от всяких личных практических применений, одними перипетиями, которые его сопровождали. Если Коле Персианову был необходим "кредит" для того, чтоб позавтракать устрицами, отобедать с шампанским и окончить день в доме терпимости, то Порфише он нужен был совсем для других целей. Он видел в "кредите" известную экономическую функцию, без которой нельзя было обойтись в ряду прочих экономических функций. Экономическая наука представлялась ему в виде шкафа с множеством ящиков, и чем быстрее выдвигались и задвигались эти ящики, тем более умилялась его душа.

Но что всего замечательнее, на глазах у Порфиши не было даже практических примеров, с помощью которых его мысль могла бы ориентироваться. Время тогда было самое глухое; из значительных железных дорог существовала только одна; об акционерных обществах и биржевой игре не было и помину. Никому не приходила в голову ни неистощимая печорская семга, ни беспримерные в летописях мира скопинские залежи каменного угля. Ничем не руководимый, с помощью одного инстинкта, Порфиша проникал и в

недра земли, и в глубины морских хлябей -- и везде находил что-нибудь полезное. Его не смущало то, что все финансовые построения, которым он так неутомимо предавался, были построениями бесплотными, разлетающимися при первом прикосновении действительности. Он ничего лично для себя не желал, а только выполнял свою провиденциальную задачу. Быть может, он уже чувствовал, что тот момент недалек, когда он явится с зажатými горстями, торжественно разожмет их, и -- клац! -- покажет изумленной России пустые ладони.

Был, однако ж, один очень важный практический результат, который Порфиша извлек лично для себя из своих финансовых снов: к нему с уважением стали относиться товарищи.

-- Il est par trop theoricien, ce cher Velentieff {Он слишком теоретичен, этот милый Велентьев.}, -- выражался о нем Коля Персианов, -- mais c'est egal, c'est une bonne tete, et avec le temps on pourra l'utiliser {но все равно, это хорошая голова, и со временем его можно будет использовать.}.

Сам директор был изумлен, когда однажды при нем Порфиша, бойко и без запинки, в каких-нибудь четверть часа, объяснил краткие правила к познанию биржевой игры.

-- Ну, Велентьев, не ожидал! -- сказал он. -- Судя по началу, я думал, что ты так и вырастешь дураком, а ты вон как развернулся!

Но Порфиша не увлекался похвалами и, по-видимому, даже не понимал их. Он рассеянно выслушивал сравнения, которые проводились между его прошлым и настоящим, и очень может быть, что в голове его в это время мелькала мысль:

"Чудаки! как будто что-нибудь изменилось! Как будто я не тот же Порфиша, которому когда-то снились клады и неразменные червонцы, а теперь снятся непроглядные вятские леса и скопинские каменноугольные залежи!"

Один Менандр Семенович с прежним недоверием относился к сыну и, выслушивая его рассказы о самоновейших способах накопления богатств, невольно припоминал о Амалатке и Азаматке. Очевидно, он уже подозревал в Порфише реформатора, который

придет, старый храм разрушит, нового не возведет и, насоривши, исчезнет, чтоб дать место другому реформатору, который также придет, насорит и уйдет...